Альфонс Доде.

Бессмертный

Alphonse Daudet. L’Immortel (1888). Пер. с фр. - Э.Шлосберг.
В кн.: “Альфонс Доде. Тартарен из Тараскона. Бессмертный”.
М., “Художественная литература”, 1974.
OCR spellcheck by HarryFan, 27 February 2001

Инсинуации некоторых газет, усмотревших в “Бессмертном” выражение мелочной обиды отвергнутого кандидата, вынуждают меня предпослать новому изданию романа письмо, написанное мною в редакцию “Фигаро” пять лет тому назад:

”Я не выставляю, никогда не выставлял и никогда не выставлю своей кандидатуры в Академию”.

А.Д., Париж, 1888

Дорогому Филиппу Жилю, самому истому парижанину из моих собратьев по перу, посвящаю я эти очерки нравов.

1

В “Словаре современных знаменитостей” издания 1880 года статья, посвященная Астье-Рею, гласит:

”Астье, известный под именем Астье-Рею (Пьер-Александр-Леонар), член Французской академии, родившийся в 1816 году в Сованья (Пюи-де-Дом), в семье бедных земледельцев, с самого раннего возраста проявил редкие способности к истории. Основательное изучение предмета, какого уже не встретишь в наше время, начатое в Риомском коллеже и законченное в коллеже Людовика XIV, куда он впоследствии вернулся преподавателем, широко раскрыло перед ним двери Высшей нормальной школы (*1). По окончании курса наук он стал читать историю в Мандском лицее. Там им было написано “Исследование о Марке Аврелии” (удостоенное премии Французской академии). Приглашенный спустя год г-ном де Сальванди (*2) в Париж, молодой даровитый ученый сумел оправдать оказанное ему просвещенное внимание, выпустив в свет одну за другой книги: “Великие министры Людовика XIV” (удостоена премии Французской академии), “Бонапарт и Конкордат” (также отмечена премией Французской академии) и замечательное “Введение к истории Орлеанского дома” - величественное преддверие к труду, которому историк посвятил впоследствии двадцать лет своей жизни. На этот раз Академия, лишенная возможности украсить ученого новыми лаврами, включила его в число своих избранников. Астье и ранее в известной мере не чужд был академическим кругам благодаря своему браку с м-ль Рею, дочерью покойного Полена Рею, знаменитого архитектора, члена Академии надписей и изящной словесности, внучкой маститого Жана Рею, старейшего члена Французской академии, автора “Писем к Урании” и изысканного переводчика Овидия, бодрая старость которого является предметом восхищения всего дворца Мазарини.

Известно, с каким благородным бескорыстием Леонар Астье, призванный своим другом и коллегой г-ном Тьером к исполнению обязанностей архивариуса министерства иностранных дел, через несколько лет (в 1878 г.) отказался от этой должности, не желая подчинять свое перо и беспристрастное суждение историка требованиям современных

правителей. Но и лишенный дорогих его сердцу архивов, писатель сумел использовать свои досуги. В течение двух лет он выпустил три последних тома своего фундаментального труда и готовит к печати монографию “Новое о Галилее” на основании весьма любопытных и доселе не опубликованных документов. Все произведения Астье-Рею находятся в продаже у Пти-Секара, книгопродавца Академии”.

Поскольку издатель “Словаря знаменитостей” предоставляет каждому заинтересованному лицу самому рассказать о себе, полная достоверность этих биографических данных не подлежит ни малейшему сомнению. Но для чего было писать, что Леонар Астье-Рею сам отказался от должности архивариуса, когда решительно всем известно, что его сместили, рассчитали, как лакея, за опрометчивую фразу, случайно вырвавшуюся у этого историка Орлеанского дома (том V, с.327): “Тогда, как и в настоящее время, Францию захлестнула волна демагогии…”

И куда только может завести метафора! Оклад в двенадцать тысяч франков, квартира на набережной Орсе, отопление, освещение, не говоря уже о богатейшей сокровищнице исторических документов, где зародились его книги, - все это унесла за собой “волна демагогии”, его волна! Несчастный ученый был безутешен. Даже по прошествии двух лет сожаление о былом благополучии, о почестях, связанных с утраченной должностью, все так же терзало его душу, особенно остро в некоторые дни недели, в некоторые числа месяца и главным образом в дни Гейседра.

Тейседр был просто-напросто полотер. С незапамятных времен являлся он в дом по средам, и в тот же день после обеда г-жа Астье принимала гостей в рабочем кабинете мужа, единственной приличной комнате во всей квартире на четвертом этаже дома по Бонской улице - некогда роскошных, но крайне неудобных апартаментах с высокими потолками. Можно себе представить, какое беспокойство причиняли эти среды знаменитому историку, повторяясь из недели в неделю и отрывая его от кропотливой, строго размеренной работы. Он возненавидел полотера, своего земляка, с желтым лицом, жестким и плоским, под стать его кругу воска, - этого Тейседра, который под предлогом, что он из Риома, тогда как “гошподин Аштье вшего иш Шованья”, толкал без всякого почтения тяжелый стол, заваленный тетрадями, заметками и докладами, и гонял ученого мужа из

комнаты в комнату, заставляя его забираться на антресоли, надстроенные над кабинетом, где, несмотря на свой небольшой рост, Астье принужден был сохранять сидячее положение. В эту каморку, все убранство которой состояло из ветхого, обитого штофом кресла, старого ломберного стола и шкафчика для дел, свет проникал со двора через верхнюю часть большого сводчатого окна в кабинете ученого. В стене получалось нечто вроде двери, какие бывают в оранжереях, - низенькой и застекленной, сквозь которую был виден с головы до ног историк, согнувшийся в три погибели над работой, точно кардинал Ла-Балю (*3) в своей клетке. Здесь сидел он однажды утром, не отрывая глаз от какой-то старой, неразборчивой рукописи, как вдруг, заглушая грохот, производимый в квартире Тейседром, у входной двери зазвенел колокольчик.

- Это вы, Фаж? - спросил ученый своим глубоким, звучным басом.

- Нет, гошподин Аштье. Это ваш шынок.

Двери по средам открывал полотер, потому что Корантина одевала барыню.

- Как поживает мэтр? - крикнул Поль Астье, направляясь в комнату матери.

Академик ничего не ответил. Его всегда задевало ироническое обращение сына, называвшего его “мэтр, дорогой мэтр”, как бы в насмешку над тем почетным званием, которым его обычно величали.

- Пусть господин Фаж подымется ко мне, как только он придет, - сказал ученый, не обращаясь непосредственно к полотеру.

- Ладно, гошподин Аштье…

И дом снова стал сотрясаться от грохота.

- Здравствуй, мама!

- Ах, это ты, Поль!.. Войди же!.. Осторожно с оборками, Корантина.

Госпожа Астье надевала юбку перед зеркалом. Это была высокая, стройная женщина, еще довольно красивая, несмотря на сухую кожу и

поблекшее лицо. Не меняя положения, она подставила сыну напудренную щеку, к которой он едва прикоснулся остроконечной белокурой бородкой: оба они были не склонны к сердечным излияниям.

- Молодой барин завтракать останется? - спросила Корантина, толстая крестьянка с лоснящимся рябым лицом, которая, сидя на ковре, точно пастушка на лугу, подшивала подол черной поношенной юбки своей госпожи. Тон, каким это было сказано, и сама поза Корантины, исполнявшей в доме различные обязанности за более чем скромное вознаграждение, говорили о том, что она чувствует себя здесь своим человеком.

Нет, Поль не останется завтракать. Он спешит. Внизу у подъезда его кабриолет, он заехал, чтобы сказать два слова матери.

- Твой новый английский кабриолет?.. Посмотрим!..

Госпожа Астье подошла к открытому окну и слегка раздвинула жалюзи, на которых полосами играло яркое майское солнце, раздвинула как раз настолько, чтобы рассмотреть щегольской легкий экипаж, сверкавший новизной кожи и лакированным деревом, и лакея в ливрее с иголочки, державшего под уздцы лошадь.

- Ах, сударыня, вот прелесть-то!.. - прошептала Корантина, тоже глядя в окно. - Ну до чего в нем хорош, наверно, ваш сынок!

Мать сияла. В домах напротив открывались окна. Прохожие останавливались около экипажа, появление которого взбудоражило всю эту часть Бонской. Отослав служанку, г-жа Астье села на край кушетки и сама принялась чинить юбку, ожидая, что скажет сын; она уже догадывалась, в чем дело, хотя казалась всецело поглощенной своей работой. Поль Астье, откинувшись в кресле, тоже молчал, играя веером из слоновой кости, старой безделушкой матери, знакомой ему чуть ли не со дня рождения. Глядя на мать и на сына, нельзя было не поразиться их сходству: одинаково смуглая кожа креолов с едва проступающим румянцем, та же гибкость стана, серые непроницаемые глаза и в обоих лицах едва уловимый изъян - тонкий, слегка искривленный нос, придающий лицу хитрое и насмешливое выражение, что-то не внушающее доверия. Они молчали, следя друг за другом, напряженно выжидая, а щетка

Тейседра грохотала вдали.

- Недурно… - заметил Поль.

Мать подняла голову.

- Что именно?

Концом веера, бесцеремонно, как это принято в мастерской художника, он указал на голые руки, на линию покатых плеч под тонким батистом. Г-жа Астье рассмеялась.

- Да, а вот это?.. - Она рукой коснулась длинной шеи, на которой морщины изобличали возраст женщины. - И потом еще…

Она подумала: “Какое это имеет значение, если человек красив…” - но ничего не сказала. Эта женщина, известная своим умением поддержать любой разговор, искушенная в светской болтовне, во всякой лжи, владевшая искусством все сказать прямо или обиняками, не находила слов для выражения единственного искреннего чувства, которое она испытала за всю свою жизнь.

Собственно говоря, г-жа Астье не принадлежала к числу тех женщин, которые не могут решиться стареть. Еще задолго до того, как в ней угас огонь страстей, - по-видимому никогда и в молодые годы не пылавший особенно ярко, - она все свое кокетство, все стремление покорять и пленять, все честолюбивые мечты светской женщины перенесла на своего сына, этого высокого красивого молодого человека двадцати восьми лет, учтивого и сдержанного, с маленькой бородкой и коротко подстриженными спереди волосами, как подобает современному художнику, в походке, во всех движениях которого чувствовались ловкость и выправка, приобретаемые нынешней молодежью на военной службе.

- Бельэтаж у тебя сдан? - наконец спросила мать.

- Да, как же… сдан!.. Ни одна собака не является. Ни реклама, ни объявления - ничто не помогает… Невольно вспоминаются слова Ведрина на его выставке: “Я не знаю почему, но они не идут”.

Поль тихонько рассмеялся: он представил себе Ведрина, спокойного и уверенного в себе, среди своих эмалей и скульптур, удивляющегося без тени досады отсутствию публики. Но г-же Астье было не до смеха: роскошный бельэтаж пустует уже два года!.. Улица Фортюни, прекрасный квартал, дом в стиле Людовика XII… построенный ее сыном! Чего же им еще нужно?.. “Им”, “они” - это, должно быть, те самые, которые не шли к Ведрину… Перекусывая зубами нитку, она сказала:

- А ведь это дело хорошее.

- Превосходное! Нужны только деньги, чтобы выждать…

Все уходит на проценты по закладной… А тут еще покоя нет от подрядчиков: необходимо уплатить за столярную работу десять тысяч франков к концу месяца, а у него нет ни единого луидора.

Мать, надевавшая лиф перед зеркалом, побледнела и заметила, что бледнеет. По телу побежала дрожь, как перед дуэлью, когда противник поднял пистолет и нацелился.

- Ты получил за реставрацию Муссо?

- Муссо! Когда это было!..

- А гробница Розена?

- Все на том же месте… Ведрин никак не может кончить статую.

- Почему же ты связался с Ведрином? Ведь отец тебе говорил…

- Старые песни! Ведрин просто пугало для них; для Бессмертных…

Поль встал и заходил по комнате.

- Ты, кажется, меня знаешь! Я человек практический… И если я поручил статую Ведрину, значит, у меня были к тому основания.

Внезапно повернувшись лицом к матери, он спросил:

- У тебя не найдется десяти тысяч франков?

Вот чего она ожидала с самого его прихода, только за этим он и заезжал к ней.

- Десять тысяч франков!.. Откуда?..

Больше она не произнесла ни слова, но рот ее и глаза, выражавшие бесконечное страдание, казалось, говорили: “Ты же отлично знаешь, что я тебе все отдала, что на мне тряпье, что вот уже три года, как я не покупала себе шляпки, что Корантина стирает мое белье на кухне, потому что мне совестно такую рвань отдавать прачке, и ты ведь знаешь, что тяжелее всего для меня отказать тебе. Зачем же ты меня об этом просишь?”

Немой упрек матери был так красноречив, что Поль Астье поспешил ответить:

- Разумеется, я не тебя имел в виду. Если бы они у тебя были!..

А затем, с обычной для него холодной насмешливостью, продолжал:

- Мэтр там, наверху… Может быть, тебе удастся вытянуть из него?.. Ведь ты умеешь подойти к нему!

- Это было раньше, теперь уж не то…

- Однако он работает, книги его продаются, вы ничего не тратите…

Он окинул взглядом обветшавшую меблировку комнаты, окутанной полумраком, полинялые занавески, вытертые ковры, не обновлявшиеся в течение тридцати лет, со дня свадьбы родителей. Куда же уходят отцовские деньги?

- Уж не кутит ли мой родитель?..

Но столь чудовищно, столь невероятно было представить себе Леонара Астье-Рею кутилой, что жена его, несмотря на свои печальные мысли, не могла удержаться от смеха. Нет, на этот счет можно не беспокоиться.

- Но что прикажешь делать? Он таится, не доверяет… Мужик припрятывает денежки, уж и без того ему от нас солоно пришлось.

Они говорили шепотом, как сообщники, не подымая глаз.

- А дедушка? - неуверенно спросил Поль. - Что, если бы ты попыталась?..

- Дедушка? Да ты с ума сошел!..

Он ведь хорошо знал старого Рею, знал беспощадный эгоизм этого почти столетнего старика, который скорее дал бы им всем умереть, нежели лишил себя понюшки табаку или одной из булавок, воткнутых в отвороты его сюртука. Бедный мальчик! Значит, он дошел до последней крайности, если у него явилась такая мысль.

- Может быть, мне попросить?..

- У кого?

- На улице Курсель… аванс за гробницу.

- И заикаться об этом не вздумай!

Он говорил повелительно, губы у него побелели, в глазах сверкнул недобрый огонек, но, тут же овладев собой, он с обычной насмешливостью добавил:

- Не беспокойся… Это просто временное затруднение… Я бывал и не в таких переделках.

Госпожа Астье протянула ему шляпу, которую он искал, собираясь уехать, так как ничего не смог добиться от матери. Чтобы задержать сына еще на несколько минут, она заговорила об одном выгодном дельце, одном сватовстве, которое ей поручено.

При слове “сватовство” Поль вздрогнул и искоса взглянул на мать.

- И кого это ты собираешься сватать?

Она поклялась никому не говорить, но ему…

- Князя д’Атис.

- Сами!.. И кому же?

Она повела своим хитрым носиком.

- Ты ее не знаешь… Иностранка… Очень богатая. Если мне удастся, я сумею тебе помочь… Все обусловлено, подтверждено письмами…

Поль улыбнулся, совершенно успокоенный.

- А герцогиня?

- Ну, само собой, она и не подозревает.

- Ее князь, ее Сами… Связь, которая длится пятнадцать лет!

Госпожа Астье пожала плечами с таким ужасающим равнодушием, с каким только женщина может отнестись к другой.

- Тем хуже для нее! В ее годы…

- Сколько же ей лет?

- Она родилась в двадцать седьмом году… Теперь у нас восьмидесятый… Считай. На год старше меня.

- Герцогиня?.. - воскликнул в изумлении Поль.

Мать рассмеялась.

- Ну да, невежа ты этакий… Чему ты удивляешься? Ты, наверное, думаешь, что она на двадцать лет моложе меня… Что там ни говори, а даже самого прожженного из вас нетрудно провести. Во всяком случае, сам понимаешь: бедный князь ведь не может всю жизнь нести на себе это ярмо, тем более что недалек день, когда старый герцог умрет и придется жениться на вдове. Представляешь себе Сами женатым на этой старухе…

- Однако! Недурно иметь тебя своим другом!

Она вскипела. Герцогиня - друг!.. Нечего сказать!.. Женщина, у которой шестьсот тысяч франков годового дохода, прекрасно знающая их тяжелое положение, она, несмотря на их близость, никогда даже не подумала

прийти им на помощь… Изредка какое-нибудь платьице, шляпка от своей модистки… Практичные подарки, не доставляющие удовольствия.

- Новогодние подношения дедушки Рею, - поддакнул Поль, - атлас, географическая карта…

- О, я думаю, что Антония еще скупее!.. Помнишь, в Муссо, в самый разгар фруктового сезона, когда Сами не бывало в замке, какие нам подавали сливы к десерту? А уж там ли нет плодовых садов и огородов?! Но фрукты и овощи отсылаются на базары в Блуа и Вандом… Это уж у них в крови. Ее отец, маршал, прославился скупостью при дворе Луи-Филиппа… (*4) А слыть скрягой при этом дворе!.. Все они одинаковы, эти знатные корсиканские семьи, все скаредны и чванливы. На серебряной посуде с фамильными гербами едят каштаны, от которых свиньи воротят рыла… Герцогиня! Да она сама ведет расчеты со своим дворецким… Каждое утро ей приносят показать говядину для стола… А вечером, лежа в постели, вся в кружевах - мне сам князь это рассказывал, - чуть ли не в его объятиях, она подсчитывает дневные расходы.

Госпожа Астье отводила душу. Ее пронзительный шипящий голос напоминал крик морской птицы, раздающийся с корабельной мачты. Сын слушал - вначале охотно, потом с нетерпением, мысли его были уже далеко.

- Мне пора, - прервал он ее, - деловой завтрак… Очень важно…

- Заказ?

- Нет… На этот раз архитектура ни при чем.

Она стала расспрашивать, ей хотелось все знать.

- Потом… Я тебе расскажу… Дело на мази…

Прощаясь с матерью, целуя ее на лету, он шепнул ей на ухо:

- Все-таки подумай о десяти тысячах.

Если бы не взрослый сын, предмет их скрытого раздора, Астье-Рею, согласно понятиям светским и особенно академическим, могли почитаться образцовой супружеской четой. После тридцати лет брачного сожительства их чувства друг к другу оставались неизменными, сохраняясь под снегом в температуре “холодных парников”, как говорят садовники. Когда в 1850 году профессор Астье, лауреат Академии, просил руки м-ль Аделаиды Рею, проживавшей у своего деда во дворце Мазарини, молодого ученого привлекли не тонкий, стройный стан невесты, не ее нежный румянец, да и не состояние м-ль Аделаиды; родители ее, скоропостижно скончавшиеся от холеры, оставили ей скудное наследство, а дед, креол, уроженец Мартиники, знаменитый красавец времен Директории, игрок, кутила, мистификатор и дуэлист, заявлял во всеуслышание, что не добавит ни одного су к более чем скромному приданому внучки. Нет, сына овернских крестьян, гораздо более честолюбивого, чем жадного к деньгам, соблазняла только Академия. Два огромных двора, которые он ежедневно пересекал, направляясь с букетом к невесте, величественные длинные коридоры с выходящими на них пыльными лестницами были для него скорее путем к славе, чем к любви. Полен Рею, член Академии надписей и изящной словесности, Жан Рею, автор “Писем к Урании”, весь дворец Мазарини, его львы, купол, этот храм, притягательный, как Мекка, - все это он держал в своих объятиях в первую брачную ночь.

Подобного рода красота не увядает. Страсть, не поддающаяся влиянию времени, овладела им настолько, что он сохранил к жене отношение смертного мифологических времен, которому боги даровали руку одной из своих дочерей. И даже приобщенный после четырех баллотировок к этому сонму богов, он продолжал благоговеть перед супругой. Что же касается г-жи Астье, она согласилась на этот брак, только чтобы избавиться от деда с его анекдотами, эгоизмом и черствостью, и очень скоро убедилась, какой ограниченный ум трудолюбивого крестьянина, какая скудость мысли скрываются за высокопарностью лауреата Академии, выпускающего один за другим толстенные тома, за этим голосом, звучным, как труба, словно созданным для поучений с высоты кафедры. Тем не менее, когда с помощью интриг, хлопот и унизительных просьб ей удалось сделать его академиком, она стала относиться к нему с известным почтением, забывая, что она сама облекла его в украшенный пальмами мундир, который скрывал его ничтожество.

В этом безупречном супружеском союзе, лишенном радостей, душевной

близости и взаимопонимания, могла бы прозвучать одна человеческая, естественная нота - ребенок, но именно эта нота и нарушила гармонию. Прежде всего, не осуществилось ни одного из желаний отца, мечтавшего для сына о школьных лаврах, о победах на конкурсных испытаниях, о Высшей нормальной школе, о педагогической карьере. В лицее Поль получал награды только за гимнастику и фехтование, выделялся исключительной, упорной ленью, отличаясь в то же время практической сметкой и преждевременным знанием жизни. Он очень заботился о своем костюме и наружности и, отправляясь на прогулку, громогласно заявлял товарищам, что надеется “подцепить какую-нибудь богачиху”. Несколько раз отец, возмущенный непреодолимой ленью сына, готов был расправиться с ним круто, по-овернски, но тут вмешивалась мать, всегдашняя покровительница и заступница. Астье-Рею ворчал, щелкал челюстью - той знаменитой, выдающейся вперед челюстью, которая снискала ему в бытность его учителем прозвище “Крокодил”, - и в виде крайней меры грозил уложить свой сундук и вернуться на родину сажать виноградные лозы.

- О Леонар! Леонар! - говорила слегка насмешливо г-жа Астье.

И дело на этом кончалось.

Но однажды отец действительно чуть было не уложил свой сундук - когда Поль Астье, пробыв три года в архитектурном отделении Школы изящных искусств, отказался участвовать в конкурсе на соискание Римской премии (*5). Отец, задыхаясь от гнева, кричал:

- Несчастный, ведь это Рим!.. Разве ты не понимаешь? Рим… путь в Академию!

Но юноша пренебрег этим. Стремился он только к богатству, чего Академия не давала, доказательство тому - его отец, дед и прадед, старик Рею. Занять положение, ворочать делами, крупными делами, немедленно зарабатывать деньги - вот о чем он мечтал, а вовсе не о пальмах на зеленом мундире.

Леонар Астье выходил из себя. Слышать, как сын произносит эти кощунственные речи и как жена, дочь и внучка Рею, одобряет их!.. На этот раз сундук был унесен с чердака - старый сундук провинциального

учителя, обитый гвоздями, на тяжелых петлях, какие бывают у соборных дверей, настолько объемистый и глубокий, что он вмещал в свое время толстенную рукопись, посвященную Марку Аврелию, вместе со всеми честолюбивыми мечтами молодого историка, стремившегося взять приступом Академию. И сколько г-жа Астье ни твердила, поджав губы: “О Леонар, Леонар!..” - ничто не помешало ему уложить сундук. В течение двух дней сундук загромождал кабинет, потом его вытащили” в переднюю, где он и остался, превратившись в ящик для дров.

Нельзя не признать, что Поль начал свою деловую карьеру чрезвычайно успешно. При содействии матери и ее связей в высшем свете, а также благодаря своей ловкости и обаянию он получил заказы, обратившие на него внимание. Герцогиня Падовани, супруга бывшего посла и министра, поручила ему реставрацию своего замечательного замка Муссо на Луаре, старинного королевского дворца, заброшенного с давних пор, и Поль сумел восстановить дворец во всем его своеобразии с таким искусством и изобретательностью, каких нельзя было ожидать от заурядного молодого архитектора.

Удачной реставрации Муссо он был обязан получением заказа на постройку особняка турецкого посольства, и, наконец, княгиня Розен поручила ему возведение мавзолея князю Герберту, трагически погибшему в экспедиции Христиана Иллирийского. С тех пор молодой человек почувствовал себя хозяином положения. Старик Астье, уступая настояниям жены, дал восемьдесят тысяч франков из своих сбережений на покупку земельного участка на улице Фортюни, где Поль выстроил себе особняк, или, точнее говоря, крыло особняка, являвшееся частью красивого доходного дома. Поль был практичным молодым человеком: желая иметь особняк, какой должен быть у всякого преуспевающего художника, он в то же время рассчитывал, что этот особняк будет приносить ему доход.

К несчастью, доходные дома не всегда легко сдаются, а образ жизни молодого архитектора - пара лошадей в конюшне (одна упряжная, другая верховая), клуб, светские обязанности и сильная задержка платежей - лишал его возможности выжидать. К тому же старик Астье неожиданно заявил, что впредь ничего не будет давать Полю, и старания матери что-либо сделать или сказать в защиту нежно любимого сына наталкивались на непоколебимое решение, на упорное сопротивление ее воле, которой прежде все в доме подчинялось. С тех пор завязалась непрекращавшаяся

борьба: мать хитрила, плутовала в расходах, как нерадивый управляющий, лишь бы не отказать в деньгах сыну. Леонар же, подозревая ее и защищая свои интересы, проверял каждый счет. В этих унизительных столкновениях жена, будучи более утонченной натурой, сдавалась первая, и только мысль, что Поль доведен до крайности, заставила ее решиться на новую попытку.

Войдя в столовую, длинную, унылую комнату, куда свет едва проникал сквозь узкие высокие окна, к которым вели две ступеньки (до того как они сюда переехали, здесь помещалась трапезная для духовных особ), г-жа Астье застала своего мужа за столом; он, видимо, был чем-то озабочен и даже рассержен. Обычно за едой мэтру не изменяли благодушное настроение и аппетит, и его крепким, как у горной собаки, зубам не могли противостоять ни черствый хлеб, ни жесткое мясо, ни невзгоды, которыми приправлен каждый день нашей жизни.

”Должно быть, из-за Тейседра”, - подумала г-жа Астье и, шурша платьем, надетым для приема, села на свое место, несколько удивленная, что не слышит от мужа комплиментов своему наряду - в сущности, весьма жалкому, - которыми он неизменно встречал ее по средам. Рассчитывая, что дурное настроение мэтра рассеется с первым же глотком, она выжидала, готовясь начать атаку. Но Леонар, хотя и уплетал все, что ему подавали, распалялся все больше: и вино отзывало пробкой, и биточки подгорели.

- Все это потому, что господин Фаж надул вас сегодня! - сердито крикнула Корантина из кухни, расположенной рядом, выставив свое лоснящееся рябое лицо в окошечко, проделанное в стене, через которое во времена трапезной подавались кушанья. Когда оконце с шумом захлопнулось, Леонар Астье пробормотал:

- Экая грубиянка!

В сущности, он был чрезвычайно смущен упоминанием имени Фажа при жене. И, без сомнения, в другое время г-жа Астье не преминула бы заметить: “Ага!.. Опять этот Фаж… Опять ваш переплетчик…” - после чего последовала бы семейная сцена, на которую и рассчитывала Корантина, бросая свою ехидную фразу. Но сегодня нельзя было сердить мэтра, - напротив, следовало умело подготовить почву, чтобы добиться своей цели; нужно, например, завести с ним разговор о здоровье Луазильона,

непременного секретаря Академии, дни которого сочтены. Пост Луазильона, его казенная квартира должны были перейти к Леонару Астье, как бы в компенсацию за утраченную им должность, и хотя он сочувствовал умирающему собрату, но надежда на хорошее жалованье, просторное и удобное помещение и на ряд других преимуществ связывала эту близкую кончину с весьма приятными видами на будущее, которые Леонар, быть может, не без некоторого чувства неловкости, простодушно обсуждал в семейном кругу. Так нет же! И эта тема сегодня не отвлекла его от мрачных мыслей.

- Бедный господин Луазильон! - шипела г-жа Астье. - Он уже начал забывать слова. Лаво рассказывал нам вчера у герцогини, что он с трудом лепечет: “Бе-без-делушка, бе-безделушка!” - Поджав губы и вытянув длинную шею, она обратилась к мужу с вопросом: - А ведь Луазильон - член комиссии по составлению словаря?

Астье-Рею и бровью не повел.

- Не лишено остроумия, - промолвил он поучительным тоном, щелкая челюстями. - Где-то в одной из своих книг я писал: “Во Франции только преходящее устойчиво”. - Астье-Рею говорил с сильным овернским акцентом. - Вот уже десять лет Луазильон при смерти… И он переживет всех нас.

Он повторял, злобно грызя кусочек черствого хлеба:

- Всех!.. Всех!..

Решительно, Тейседр не на шутку его расстроил.

Госпожа Астье заговорила о торжественном объединенном заседании пяти Академий, которое состоится в ближайшие дни в присутствии великого князя Леопольда Финляндского. Астье-Рею - дежурный член в текущем квартале - должен председательствовать на этом заседании, открыть его речью, обратившись с приветствием к его высочеству. Отвечая на умелые расспросы жены об этой речи, план которой он уже составил, Леонар в общих чертах сообщил, о чем будет говорить: он разгромит современную литературную школу, он даст публичную отповедь этим глупцам, этим обезьянам бесхвостым!..

Расширенные зрачки обжоры на сильно покрасневшем топорном лице загорелись под нависшими мохнатыми, черными, как смоль, бровями, составлявшими резкий контраст с седой бородой.

- Кстати, - вдруг вспомнил Леонар, - а мой мундир?.. В порядке ли он?.. Когда я его надевал в последний раз на похороны Монрибо…

Но разве женщина заранее обо всем не подумает! Г-жа Астье еще утром тщательно осмотрела его парадный мундир. Шелковое шитье обтрепалось, подкладка никуда не годится. Совсем старый мундир!.. Служит он Астье-Рею, слава тебе господи, с самого дня приема в Академию - с 12 октября 1866 года. Следовало бы заказать себе новый к предстоящему заседанию. Ведь соберутся пять Академий, прибудет великий князь, сбежится весь Париж. Придется уж на это пойти.

Леонар слабо возражал, ссылаясь на слишком большой расход. К новому мундиру пришлось бы заказать и жилет - правда, только жилет, так как форменных брюк теперь не носят.

- Это необходимо, мой друг.

Она настаивала. Сами того не замечая, они становятся смешны со своей экономией. В доме много вещей приходит в негодность, хотя бы, например, мебель в ее комнате… Просто совестно делается, когда заглядывает кто-нибудь из приятельниц… И сумма-то нужна сравнительно ничтожная…

- Как бы не так, из-за всякого дурака… - вполголоса пробормотал Астье-Рею, охотно заимствовавший выражения из репертуара классиков. Морщина на лбу резче обозначилась, замыкая, как засов на ставнях, его лицо, еще за минуту такое открытое. Сколько раз он давал деньги на уплату по счетам модистки и портнихи, на покупку новой обивки, столового и постельного белья - и ничего не приобреталось, никому не уплачивалось, деньги уплывали на улицу Фортюни, как в прорву. Нет, довольно, больше уж он не даст себя провести… Старик сгорбился, уткнулся в тарелку, на которой лежал огромный кусок овернского сыра, и умолк.

Госпоже Астье было хорошо знакомо это упорное молчание, это сопротивление мягкого тюка хлопка, как только речь заходила о деньгах,

но на этот раз она дала себе слово добиться от него ответа.

- Ах, вы ощетинились?.. Знаем, что это значит, когда вы топорщитесь ежом… Нет денег, не так ли? Совсем, совсем нет?

Спина горбилась все больше и больше.

- Однако для Фажа у вас деньги находятся…

Леонар Астье вздрогнул, выпрямился и с тревогой взглянул на жену… Деньги… у него… для Фажа!

- Я думаю, недешево обходятся ваши переплеты, - продолжала она, довольная тем, что сломила его молчаливое сопротивление. - Скажите на милость, для чего они нужны! Для каких-то бумажонок!

Он успокоился. Очевидно, она ничего не знала и пускала стрелы наугад, но слово “бумажонки” задело его за живое: ведь это автографы, не имеющие себе равных, письма за подписью Ришелье, Кольбера (*6), Ньютона, Галилея, Паскаля, редкости, приобретенные за понюшку табаку и стоившие целое состояние.

- Да, сударыня, состояние!

Он горячился, приводил цифры, перечислял предложения, которые ему делали. Бос, знаменитый Бос с улицы Аббатства - он-то уж кое-что смыслит в таких делах, - готов уплатить двадцать тысяч франков за три документа из его коллекции, за три письма Карла V к Франсуа Рабле.

- Бумажонки!.. Нечего сказать, бумажонки!

Госпожа Астье слушала его с изумлением. Правда, ей было известно, что уже два-три года Леонар собирает старинные документы. Случалось, он рассказывал ей о своих находках, но она пропускала это мимо ушей, как женщина, которая изо дня в день в течение тридцати лет слышит все тот же надоевший ей мужской голос, но никогда ей и в голову не могло прийти… Двадцать тысяч франков за три документа!.. Почему же он не соглашается?

Старик вспыхнул, как порох:

- Продать письма Карла Пятого!.. Никогда!.. Хоть бы вы все голодали и пошли по миру, я никогда этого не сделаю, слышите?

Он стучал кулаком по столу, бледный, выпятив губы, озверев, превратившись в маньяка; это был какой-то невиданный доселе Астье-Рею, которого жена не знала. Так в минуты, когда внезапно разгораются страсти, в человеке проявляются черты, неведомые даже близким. Впрочем, тут же опомнившись и слегка конфузясь, академик пояснил, что без этих документов он не может обойтись в своей работе, в особенности теперь, когда он лишен архивов министерства иностранных дел. Продать эти материалы значило бы перестать писать! Наоборот, он подумывает о том, чтобы еще увеличить свою коллекцию. В заключение горькая и трагическая нота прозвучала в его голосе, в котором слышалась вся скорбь, все разочарование его незадачливого отцовства:

- После меня мой сын может продать все, что ему вздумается. Он ведь мечтает только о богатстве, и я могу вас заверить, что он будет богат.

- А пока что…

Это “пока” было сказано таким мелодичным, приятным голоском, так чудовищно естественно и спокойно, что Леонар, охваченный ревностью к сыну, вытеснившему его из сердца жены, ответил, зловеще щелкая челюстью:

- Пока же, сударыня, пусть и другие живут, как я… У меня нет особняка, лошадей и английского кабриолета. Я довольствуюсь конкой для своих поездок и квартирой на четвертом этаже, где мне еще приходится терпеть от Тейседра. Я работаю день и ночь, выпускаю по два, по три тома в год, состою в двух комиссиях Академии, не пропускаю ни одного заседания, присутствую на всех похоронах и даже летом не принимаю приглашений за город, чтобы не лишиться хотя бы одного жетона. От души желаю моему милейшему сынку сохранить такую же бодрость к шестидесяти пяти годам.

Впервые за много лет он так резко говорил о Поле. Мать, потрясенная, молчала, но в злом взгляде, брошенном ею исподлобья на мужа, сквозило уважение, которого за минуту не было и в помине.

- Звонят!.. - воскликнул Леонар, вскочив со своего места и бросив

салфетку на спинку стула. - Это, верно, ко мне.

- Какой-то господин к барыне… Раненько начинают собираться сегодня!..

Корантина положила визитную карточку на край стола, наспех вытерев о передник свои толстые, загрубевшие от кухонной работы пальцы. Г-жа Астье взглянула на карточку: “Виконт де Фрейде”, и огонек блеснул в ее глазах… Скрыв свою радость, она ровным, спокойным голосом спросила:

- Господин Фрейде разве в Париже?

- Да, из-за своей книги.

- Боже мой, его книга!.. Она у меня даже не разрезана… О чем там говорится?..

Она торопливо доела последний кусок, окунула в чашечку кончики белых пальцев, а муж тем временем рассеянно, думая о другом, сообщил ей в общих чертах, о чем идет речь в новой книге Фрейде… “Бог в природе”, философская поэма… Автор добивается премии Буассо.

- И он ее получит, не правда ли?.. Он так внимателен к несчастной парализованной девушке!

Астье развел руками. Поручиться, конечно, нельзя, но он, разумеется, поддержит Фрейде, тем более что тот действительно сделал значительные успехи.

- Если он пожелает узнать мое личное мнение, передайте ему, что, на мой взгляд, там еще слишком много такого, с чем нельзя согласиться, но гораздо меньше, чем в других книгах. И скажите, что его старый учитель им доволен.

Чего было слишком много? Чего гораздо меньше? Г-жа Астье, должно быть, это знала, потому что, не спрашивая объяснений, она выпорхнула в кабинет, превращенный на этот день в гостиную.

Оставшись один, Леонар Астье, погруженный в свои мысли, принялся ножом крошить на тарелке остатки овернского сыра, затем,

потревоженный Корантиной, которая, не обращая на него внимания, спешно убирала со стола, с трудом встал и, поднявшись по деревянной лестнице к себе на антресоли, снова взял лупу и принялся за старую рукопись, разбором которой он занимался с утра.

2

- Хэп, хэп!..

В двухколесном кабриолете, которым он сам правит, держась спокойно и прямо, высоко подняв вожжи, мчится Поль Астье на таинственный деловой завтрак, оставляя позади Королевский мост, набережные и площадь Согласия. В этом окружении террас, зелени и воды он мог бы при некоторой игре воображения представить себе, что несется на крыльях Фортуны: так ровен путь, так восхитительно утро. Но у Поля нет склонности к мифологии; он осматривает во время езды новую кожаную упряжь и осведомляется о поставщике овса у сидящего рядом с ним молодого коренастого грума с дерзкой и надутой физиономией конюшенного хлыща.

- Вот и этот торговец, видно, плюет на покупателя.

- М-да, - машинально отвечает Поль, думая уже о чем-то другом. Речи матери не выходят у него из головы. Красавице Антонии пятьдесят три года!.. А какая спина, какие плечи, самое красивое декольте во всем их кругу!.. Просто невозможно поверить…

- Хэп!.. Хэп!..

Он помнит ее в Муссо прошлым летом; она вставала раньше всех, выводила собак и гуляла в парке по росе, свежая, с развевающимися волосами. Ее красота отнюдь не казалась искусственной. И однажды в ландо как она его осадила, да, осадила, точно лакея, без единого слова, одним мимолетным взглядом, когда он только осмелился прикоснуться к ноге, достойной Гебы, длинной, топкой и крепкой… Пятьдесят три года - и такая нога! Никто не поверит!..

- Хэп!.. Хэп!.. Берегись!.. Беда на этом повороте с площади на авеню д’Антэн…

Как бы там ни было, мать замышляет страшную подлость против

несчастной женщины, собираясь женить ее князя. Ведь что ни говори, а они многим ей обязаны. Разве отец был бы академиком без герцогини? А он сам, Поль, все его заказы… И наследство Луазильона, надежда получить чудесную квартиру во дворце Мазарини…

Нет, решительно, на такую мерзость способны только женщины!.. Но и мужчины тоже хороши… Взять хотя бы этого князя д’Атиса. Чего только не сделала для него герцогиня! К тому времени, когда они встретились, он разорился, обнищал, какое-то отребье, а не человек. А сейчас это министр, член Академии нравственных и политических наук - благодаря книге, в которой он не написал ни единого слова: “О назначении женщины”! И вот в то время как она старается выхлопотать для него место посла, он только и ждет постановления в “Офисьель”, чтобы удрать “по-английски”. После пятнадцати лет безоблачного счастья так отблагодарить герцогиню! Вот он уж действительно понял назначение женщины! Нужно только не зевать, быть не глупее его…

- Хэп!.. Хэп!.. Отворите, будьте любезны.

Монолог окончен, экипаж остановился у особняка на улице Курсель. Высокие ворота растворяются медленно, с трудом, словно они уже давно от этого отвыкли.

Здесь жила княгиня Колетта Розен, отрешившаяся от мира после своей безвозвратной утраты, после того трагического события, которое сделало ее вдовой в двадцать шесть лет. Газетные хроникеры в свое время немало писали о наделавшем столько шума отчаянии молодой вдовы, о том, как она коротко остригла золотистые косы и бросила их в гроб, о комнате, превращенной в часовню, об одиноких трапезах за столом, накрытым для двоих, и, наконец, о том, что в передней на своем обычном месте лежали трость, перчатки и шляпа князя, словно он был дома и собирался выйти на прогулку. Но никто не говорил о нежнейшем внимании, почти материнской заботливости, которой окружала г-жа Астье “бедняжку” в эти тяжелые минуты.

Добрые отношения между дамами начались несколькими годами раньше, когда князю Розену была присуждена Академией премия за

историческое сочинение, причем докладчиком был Астье-Рею, но разница в возрасте и положении создавала преграды, и только теперь их уничтожил траур княгини. В ее безоговорочном разрыве со светом было сделано исключение для одной лишь г-жи Астье: ей одной разрешалось переступать порог особняка, превращенного в монастырь, где проливала слезы бедная кармелитка в черных одеждах, с коротко остриженной головкой; она одна была допущена к панихидам, которые два раза в неделю служились в церкви св.Филиппа за упокой души Герберта, и одной ей читала Колетта свои письма, которые каждый вечер писала безвременно ушедшему возлюбленному супругу, рассказывая ему о том, как она проводит дни. При всяком, даже самом строгом трауре нельзя обойтись без материальных забот, оскорбляющих истинное горе, но неизбежных в силу требований света, - тут и заказ ливрей, обивка экипажей, встреча с поставщиками, вызывающими отвращение своим лицемерным участием, - всем этим занялась г-жа Астье. С неиссякаемым терпением приняла она на себя все заботы об огромном доме, за которым не могли уже следить прелестные глазки, затуманенные слезами. Молодая вдова была избавлена от всего, что могло помешать ее скорби, потревожить ее в часы, посвященные слезам, молитве и переписке с потусторонним миром или поездкам с огромными охапками редких цветов на кладбище Пер-Лашез, где Поль Астье воздвигал гигантский мавзолей из каменных плит, привезенных, по желанию княгини, с места катастрофы.

К сожалению, добывание и перевозка далматинских скал, трудность обработки твердого гранита, тысяча планов вдовы, которой все казалось недостаточно грандиозным и величественным, недостойным ее почившего вечным сном героя, послужили причиной стольких проволочек и помех, что к маю 1880 года - спустя два года после катастрофы и начала работ - памятник еще не был закончен. Два года - слишком большой срок для бурной, безудержной, ни на минуту не ослабевающей скорби. Траур, разумеется, внешне все так же строго соблюдался, особняк был по-прежнему нем и замкнут, как склеп, но вместо живой статуи, погруженной в молитву и проливающей слезы в глубине мавзолея, там жила теперь молодая хорошенькая женщина; пушистые и тонкие волосы ее, отрастая, своевольно вились и кудрявились.

Черные вдовьи одежды, озаренные золотистой головкой, казались менее темными и мрачными, они воспринимались как каприз элегантной женщины. В походке, в голосе княгини чувствовалась весенняя бодрость,

лицо ее приобрело спокойное и мягкое выражение, какое обычно бывает у молодых вдов, уже переживших острые минуты горя. Чудесное состояние! Женщина впервые начинает вкушать сладость свободы, право располагать собой, до сих пор ею не изведанное, - ведь еще совсем юной перешла она из-под родительской опеки к мужу; она избавлена от грубости самца и особенно от страха перед беременностью - этого жестокого страха, отравляющего минуты любви и столь характерного для современных женщин. И переход - такой естественный - от безграничного отчаяния к полному умиротворению лишь подчеркивался внешними атрибутами безутешного вдовства, которыми продолжала окружать себя княгиня Колетта. Не из лицемерия, конечно! Но как могла она, не вызывая усмешек у прислуги, приказать убрать эту шляпу, ожидавшую в передней, трость, оставленную на видном месте, этот прибор для покойного? Как сказать: “Князь не обедает сегодня дома!”? Лишь мистическая переписка - “Герберту на небеса” - с каждым днем сокращалась, превратившись в простой дневник, который велся в очень спокойных тонах, чем весьма забавлялась про себя умная приятельница Колетты.

Ведь у г-жи Астье был свой план, зародившийся в ее хитроумной голове в один из вторников во Французской комедии, когда князь д’Атис в минуту откровенности шепнул ей:

- Ах, дорогая Аделаида, ну и каторга!.. Если бы вы только знали, как я скучаю!..

Тотчас же она решила женить его на княгине, и началась новая игра, противоположная первой, но такая же тонкая и внимательная. Теперь уже не следовало твердить о нерушимости супружеских клятв, отыскивать у Жубера (*7) и других высоконравственных философов изречения, под стать следующему, вписанному княгиней в молитвенник, подаренный ей ко дню ее свадьбы: “Достойной супругой и вдовой женщина может быть только единожды…” - или восторгаться мужественной красотой юного героя, изображения которого, скульптурные или писанные маслом, во весь рост, поясные, в профиль и вполоборота, красовались во всех комнатах особняка.

Надлежало, напротив, умалять его достоинства, постепенно и умело.

- А не находите ли вы, моя милая, что на портретах у князя подбородок

тяжеловат? Конечно, нельзя не признать, что и в жизни нижняя часть лица у него была массивна, великовата.

Легкими ядовитыми уколами, с бесконечной мягкостью и ловкостью, поправляясь, когда она заходила слишком далеко, подстерегая улыбку Колетты при каком-нибудь удачном сравнении, г-жа Астье доводила до сознания молодой вдовы, что от ее Герберта всегда отзывало солдатчиной, что аристократом он был скорее по имени, чем по манере себя держать, что он был лишен той благородной осанки, присущей, ну, скажем, князю д'Атису, которого они встретили в прошлое воскресенье на пороге церкви св.Филиппа.

- Если только надумаете… Чем не жених для вас, дорогая?..

Это говорилось вскользь, в шутливом тоне; потом г-жа Астье к этому возвращалась и выражалась яснее. А почему бы и нет? Партия отличная: знатное имя, прекрасное положение в дипломатическом мире, и никаких изменений ни в короне, ни в титуле, что тоже имеет немаловажное практическое значение. Наконец, дорогая, если говорить откровенно, князь питает к вам нежнейшие чувства.

Слово "чувства" вначале задевало княгиню, как тяжкая обида, но потом она к нему привыкла. Дамы встречались с д'Атисом в церкви. Тщательно скрываясь от всех на Бонской, Колетта вскоре призналась, что он один мог бы заставить ее отказаться от вдовства. Но только как же это? Ведь бедный Розен любил ее так преданно, так безраздельно!

- Ну, уж и безраздельно, - цедила г-жа Астье, улыбаясь всезнающей улыбкой; затем следовали намеки, иносказательные замечания, которыми женщина может ужалить женщину. - Ах, друг мой, на свете нет однолюбов, нет верных мужей!.. Порядочные, благовоспитанные мужчины стараются не огорчать, не оскорблять жену, не нарушать семейного согласия…

- Значит, вы думаете, что и Герберт?..

- Боже мой, как и все!..

Княгиня возмущалась, дулась, заливалась слезами, не вызванными горем, слезами, которые только успокаивают и освежают женщину, как

дождик лужайку. Однако она не сдавалась, к великой досаде г-жи Астье, не подозревавшей о действительной причине этого сопротивления.

Дело же заключалось в том, что в то время, когда Поль и Колетта вместе рассматривали проекты мавзолея, склонившись над папками и эскизами склепов и надгробных памятников, руки их и волосы невольно соприкасались, и между ними возникла дружеская симпатия, постепенно перешедшая в более нежное чувство. И вот однажды Поль Астье уловил во взгляде, обращенном к нему, какое-то смятение, порыв, почти признание. Возможность, мечта, чудо представились ему - стать мужем Колетты, которая принесет ему в приданое двадцать - тридцать миллионов. О, не теперь, позднее, после терпеливого выжидания, после правильной осады крепости! Главное - остерегаться маменьки, хитрой и ловкой, но слишком усердной, особенно когда дело касалось ее Поля. Она способна была все погубить из желания ускорить счастливую развязку. Итак, он таился от г-жи Астье, не подозревая, что она ведет подкоп на том же участке, но в противоположном направлении, и действовал в одиночку, исподволь, очаровывая княгиню своей молодостью, изяществом, жизнерадостностью, своим насмешливым умом, но тщательно прятал при этом когти, зная, что женщины, подобно простонародью, детям и всем вообще существам наивным и непосредственным, ненавидят иронию, которая приводит их в замешательство и в которой они чуют злейшего врага увлечения и любовных грез.

В это весеннее утро молодой Астье прибыл на улицу Курсель еще более уверенный в себе, чем обычно. Впервые он был приглашен княгиней к завтраку под предлогом совместного посещения кладбища Пер-Лашез для ознакомления на месте с ходом работ. По молчаливому уговору была выбрана среда - приемный день г-жи Астье, - чтобы не оказаться втроем. Вот почему, несмотря на свою сдержанность, рассудительный молодой человек, поднявшись на крыльцо особняка, окинул небрежным взглядом вступающего во владение хозяина обширный двор и роскошные службы. Но пыл его охладел, когда он оказался в прихожей, где швейцар и лакеи в парадных траурных ливреях дремали на скамьях, точно справляя похоронное бдение вокруг шляпы покойного, чудесной серой шляпы, возвещавшей о наступлении весны и об упорном желании княгини вечно чтить память мужа. Поль был этим раздосадован, словно встречей с

соперником; он не представлял себе, как трудно самой Колетте избавиться от закрепостившего ее траура. Взбешенный, он подумал: “Уж не заставит ли она меня завтракать с ним?..”, но тут, принимая у него из рук шляпу и трость, лакей доложил, что ее сиятельство ожидает г-на Астье в маленькой гостиной. Войдя на застекленную террасу, уставленную редкими растениями, он успокоился, заметив два прибора на маленьком столике, который накрывали под наблюдением самой княгини Розен.

- Мне пришла эта фантазия при виде такого чудесного солнца… Мы будем здесь совсем как за городом…

Всю ночь она ломала себе голову над тем, чтобы не завтракать с красивым молодым человеком перед пустым прибором “того”. И, не зная, как отвести глаза слугам, она решила изменить своему обыкновению и неожиданно, словно повинуясь капризу, велела:

- Накройте в оранжерее.

В общем, деловой завтрак обещал быть приятным: в бассейне маленького грота, среди папоротников и трав, охлаждалось белое бургонское вино; солнечные блики играли на хрустале и блестящей зелени зубчатых листьев. Молодые люди сидели друг против друга, почти прикасаясь коленями, он - спокойный и сдержанный, с горевшими холодным блеском светлыми глазами, она - румяная и белокурая, стойкими, точно волнистый пух, отрастающими волосами, которые обрисовывали ее маленькую головку без намека на прическу. Они говорили о безразличных вещах, скрывая свои сокровенные мысли, а Поль Астье торжествовал: ему был виден там, в опустевшей столовой, двери в которую раскрывали сновавшие взад и вперед молчаливые слуги, прибор покойного, впервые обреченный на тоскливое одиночество.

3

”М-ль Жермен, де Фрейде.

Кло-Жалланж, через Муссо (Луар-э-Шер).

Вот, дорогая сестра, точное описание моего времяпрепровождения в Париже. Собираюсь писать тебе каждый вечер и отправлять письма два раза в неделю в течение всего моего пребывания в столице.

Итак, приехал я сегодня утром, в понедельник. Остановился, как обычно, в тихой маленькой гостинице на улице Сервандони, куда со всего огромного Парижа ко мне доносится только колокольный звон из церкви св.Сульпиция да непрекращающийся стук в соседней кузнице; я люблю эти мерные удары молота по железу, напоминающие мне деревню. Тотчас побежал к издателю:

- Когда выйдет?

- Ваша книга? Да она вышла неделю тому назад.

Вышла и уже исчезла в безднах этого страшного горнила Мавиве, которое всегда дымит и пыхтит, в муках рожая новую книгу. В этот понедельник как раз появился в свет большой роман Эрше “Лесная нимфа”, вышедший тиражом в несколько десятков тысяч экземпляров, сложенных грудами, тюками во всю вышину книжной лавки. Представляешь себе недоуменные лица приказчиков и оторопелый вид добрейшего Маниве, который, казалось, спустился с луны, когда я заговорил о своем несчастном томике стихов и о моих шансах на получение премии Буассо? Захватив с собой несколько экземпляров своей книги, предназначенных для членов комиссии, я направился по улицам, настоящим улицам между стен из “Лесной нимфы”, доходивших до самого потолка. В экипаже я рассмотрел, перелистал книгу, и она мне понравилась внушительностью названия: “Бог в природе”. Пожалуй, жидковаты буквы

заглавия, надо бы шрифт пожирнее, чтобы он бросался в глаза. Ну да это пустяки! Твое милое имя “Жермен” в посвящении принесет нам счастье. Два экземпляра завез на Бонскую к Астье, которые, как ты знаешь, лишились своей квартиры в доме министерства иностранных дел. Г-жа Астье, однако, сохранила свой приемный день. Заеду к ним в среду, чтобы узнать мнение мэтра о моей книге, а теперь спешу во дворец Мазарини, где работа идет полным ходом.

В самом деле, кипучая деятельность Парижа просто изумительна, в особенности для тех, кто, подобно нам, живет круглый год в тиши, среди простора полей. Разыскал Пишераля - знаешь, того любезного господина из секретариата, который так удачно усадил тебя на заседании три года тому назад, когда мне была присуждена премия? Я застал Пишераля и его сотрудников среди шума и суеты: выкрикивались фамилии и адреса, всюду лежали пачки билетов, голубых, желтых, зеленых, - на трибуну, в галерею, в амфитеатр, вход с подъезда “А”, с подъезда “Б”. Рассылка приглашений на ежегодное торжественное заседание была в полном разгаре. На этот раз заседание должен почтить своим присутствием находящийся здесь проездом его высочество великий князь Леопольд. “Извините меня, господин виконт, - так меня постоянно величает Пишераль, должно быть, по традиции, сохранившейся со времен Шатобриана, - но придется подождать…” - “Не беспокойтесь, господин Пишераль”.

Презабавен этот Пишераль и очень обходителен, он мне напоминает Боникара во время наших уроков хорошего тона в крытой галерее у бабушки в Жалланже, и раздражителен он так же, когда ему противоречат, как наш старый учитель танцев. Жаль, что тебе не привелось слышать его разговор с герцогом де Бретиньи, бывшим министром, одним из вельмож Академии, приехавшим, пока я дожидался, за пожетонным вознаграждением. Нужно тебе сказать, что каждый жетон присутствующего на заседании академика приравнивается к шести франкам, то есть к старинному экю стоимостью в шесть ливров. Всех академиков сорок; ассигнованные на заседание двести сорок франков распределяются между присутствующими; стало быть, каждый получает тем больше, чем малочисленное собрание. Выплата производится помесячно шестифранковыми монетами, уложенными в мешочки из толстой бумаги, к которым приколот точный перечень заседаний, словно счет от прачки. Бретиньи был не согласен с расчетом, - по его словам, ему недодали двух жетонов. Трудно себе представить что-либо более забавное,

чем этот богач из богачей, председатель невесть скольких правлений акционерных обществ, приехавший в своей карете требовать двенадцать франков. Получил он только шесть, которые Пишераль после бесконечных препирательств швырнул ему, как рассыльному, что, однако, не помешало Бессмертному сунуть их себе в карман с неописуемым удовольствием. Что может быть приятнее денег, добытых в поте лица своего! Не следует думать, что в Академии бездельничают: завещания, пожертвования, количество которых увеличивается из года в год, просмотр бесконечного количества произведений, составление докладов… А словарь, а речи!.. “Доставьте им свою книгу, но сами их не тревожьте, - посоветовал мне Пишераль, узнав, что я собираюсь участвовать в соискании премии, - господа академики не любят кандидатов, которые обременяют их еще одной обязанностью”.

Действительно, я вспоминаю, как меня принимали Рипо-Бабен и Ланибуар, когда я добивался премии в прошлый раз. Совсем другое дело, когда является хорошенькая просительница. Ланибуар становится весьма игривым, Рипо-Бабен, все еще пылкий, несмотря на свои восемьдесят лет, потчует кандидатку пастилкой от кашля, шамкая: “Поднесите только к губкам… а я ее доем”. Все эти сплетни я узнал в секретариате, где судачат о Бессмертных с милой непринужденностью. “Премия Буассо!.. Позвольте… Значит, вашу судьбу решают два “князя”, три “книжных червя” и два “лицедея”. Так в тесном кругу канцелярских служащих подразделяются члены Французской академии. “Князья” - это лица, принадлежащие к знати и к высшему духовенству, “книжные черви” - профессора и ученые, “лицедеи” - адвокаты, театральные деятели, журналисты и писатели.

Получив адреса своих судей - “князей”, “лицедеев” и “книжных червей”, я преподнес надписанный мною экземпляр милейшему Пишералю, другой, как полагается, просил передать бедному г-ну Луазильону, непременному секретарю, который, как я слышал, сейчас при смерти, затем поспешил развезти остальные во все концы Парижа. Погода стояла прекрасная. Булонский лес, который я проехал, возвращаясь от Рипо-Бабена - “Поднесите только к губкам”, - благоухал боярышником и фиалками, и мне почудилось, что я дома в самые первые дни ранней весны, когда в воздухе еще свежо, а солнце уже сильно греет, и у меня явилось желание бросить все и вернуться в Жалланж, к тебе. Пообедал на бульваре в полном одиночестве, тоскуя; закончил вечер во Французской комедии, где давали

“Последнего Фронтона” Деминьера. Деминьер - член жюри по присуждению премии Буассо, поэтому только тебе я признаюсь, как бездарны показались мне его стихи. От жары и газовых ламп кровь приливала у меня к голове. Актеры играли точно при дворе Людовика XIV, и в то время как они тянули александрийские стопы (*8), будто разматывали длинные пелены, окутывающие мумию, запах жалланжского терновника продолжал преследовать меня, и я твердил про себя чудесные стихи Дю Белле (*9), почти что нашего земляка:

И крепких мраморов на кровле шифер скромный,

И Тибра галльская Луара мне милей,

И палатинских круч мой маленький Лирей,

И влажности морской - анжуйский воздух томный.

Все утро бегал по городу, останавливался у книжных магазинов, стараясь отыскать в витринах свою книгу. “Лесная нимфа”… “Лесная нимфа”… - только и видишь эту “нимфу”, опоясанную бандеролью с надписью “Новинка”, и лишь кое-где - мой томик “Бог в природе”, жалкий, затерянный… Когда на меня не смотрели, я клал его сверху на груду книг, на самом виду, но никто не обращал на него внимания. Впрочем, нет, на Итальянском бульваре какой-то негр, весьма почтенный, с умной физиономией, минут пять перелистывал мою книжку, потом ушел, так и не купив ее. Мне хотелось подарить ему свои стихи.

За завтраком в уголке английской таверны я пробежал газеты. Ни слова обо мне, ни единого объявления. До чего небрежен этот Маниве! Разослал ли хоть книги, как он мне клятвенно обещал? Столько появляется новинок! Париж просто наводнен ими. А все же грустно становится, когда вспомнишь, с каким восторгом, с каким лихорадочным трепетом писались эти стихи, как они жгли тебе пальцы, какими казались прекрасными, способными потрясти и озарить мир, - и вот они явились в этот мир и стали еще более неведомыми, чем в то время, когда только складывались в твоем мозгу; это напоминает те бальные туалеты, которые надеваются при

восторженном одобрении всей семьи, в полной уверенности, что они все затмят, все превзойдут, а при ярком свете люстр теряются в нарядной толпе. Какой счастливец этот Эрше! Его читают, его понимают. Мне попадались навстречу женщины с только что вышедшим желтым томиком, спрятанным в складках накидки… Горе нам!.. Как мы ни стараемся поставить себя вне толпы, возвыситься над нею, все же пишем мы только для нее. Разлученный с людьми, оставаясь на своем острове, утратив надежду увидеть когда-либо парус на необозримом горизонте, стал бы Робинзон, - будь он даже гениальным поэтом, - писать стихи? Долго я об этом размышлял, шагая по Елисейским полям, затерянный так же, как и моя книга, в этом огромном, ко всему равнодушном людском потоке.

Я возвращался к обеду в гостиницу в весьма мрачном настроении, о чем ты сама можешь догадаться, и вдруг на набережной Орсе у заросших зеленью развалин Счетной палаты (*10) столкнулся с рассеянным, загородившим мне дорогу верзилой. “Фрейде!” - “Ведрин!” Ты, наверное, помнишь моего приятеля, скульптора Ведрина, который в дни, когда он работал в Муссо, приезжал как-то к нам в Кло-Жалланж со своей молоденькой очаровательной женой. Он не изменился, только виски его слегка поседели. Ведрин держал за руку прелестного мальчугана с лихорадочно блестевшими глазами, так пленившего тебя, и шествовал медленно, выразительно жестикулируя, высоко подняв голову, словно он парил в недосягаемых высотах, совершая прогулку по Елисейским полям, а за ним, несколько поодаль, следовала г-жа Ведрин, толкая перед собою колясочку, в которой весело смеялась девчурка, родившаяся после их поездки в Турень.

- Итого у нее трое на руках, включая меня, - сказал Ведрин, указывая на жену.

И это была сущая правда. В ее взгляде, покоившемся на муже, сквозила тихая, нежная материнская любовь фламандской мадонны, охваченной восторгом перед своим сыном, своим божеством. Долго беседовали мы, прислонившись к парапету набережной. Мне стало легче на душе, когда я встретился с этими славными людьми. Вот кто равнодушен к успеху, к суждениям публики и академическим премиям! Ведрин в родстве с Луазильоном, с бароном Юшенаром, и стоило ему только захотеть, стоило разбавить водой свое слишком крепкое вино, и он получил бы заказы, премию, выдаваемую раз в два года, не сегодня-завтра был бы академиком.

Но ничто не манит его, даже слава.

- Славу, - сказал он мне, - я вкушал уже несколько раз и знаю ей цену… Скажи: случалось ли тебе, куря сигару, взять ее в рот не тем концом? Вот такова и слава. Сигара хороша, но во рту ее горящий кончик и пепел…

- Однако, Ведрин, если ты работаешь не ради славы, не ради денег…

- А!..

- Да, я знаю, с каким благородным пренебрежением ты к этому относишься… Но для чего же в таком случае тратить столько сил?

- Для самого себя, для собственного наслаждения, чтобы выразить свои мысли, из потребности творить.

Не подлежит сомнению, что этот человек и на необитаемом острове продолжал бы свой труд. Это истинный художник, беспокойный, ищущий новые формы и во время передышки в работе стремящийся создать из других материалов, иными способами нечто могущее удовлетворить его влечение к неизведанному. Он занимался керамикой, эмалями, его чудесные мозаики украшают кордегардию в Муссо. Завершив один труд, преодолев препятствия, он берется за другой; сейчас он мечтает заняться живописью. Как только его паладин - огромная бронзовая статуя для гробницы де Розена - будет закончен, он предполагает “приняться за масло”, как он говорит. Его жена, во всем согласная с ним, сроднившаяся с его химерами, настоящая жена художника, молчаливая, благоговеющая перед мужем, заботливо отстраняет от взрослого ребенка все, что может оскорбить его мечту, на чем он может оступиться на своем пути к звездам. Вот женщина, дорогая Жермен, заставляющая мечтать о браке. Да, если бы мне удалось встретить подобную ей, я привез бы ее в Кло-Жалланж, я убежден, что ты бы ее полюбила. Но не пугайся: такие женщины, как г-жа Ведрин, очень редки, и мы с тобой по-прежнему до конца наших дней будем жить вдвоем.

Мы расстались, условившись встретиться в следующий четверг, но не у них, в Нейли, а в мастерской на набережной Орсе, где они целые дни проводят вместе. Мастерская эта представляет собой, по-видимому, нечто в высшей степени своеобразное - это уголок в бывшей Счетной палате, где скульптор добился разрешения работать среди обваливающихся камней и

дикорастущей зелени. Отойдя от них, я обернулся, чтобы взглянуть на отца, мать и малыша, шедших рядом вдоль набережной под безмятежными лучами заходящего солнца, которое озаряло их золотым светом, словно картину святого семейства. Под впечатлением этой встречи я вечером в гостинице набросал несколько строк, но не решился прочесть их вслух - соседи стесняли меня. Мне нужен мой просторный кабинет в Жалланже, с тремя окнами, выходящими на реку и на склоны холма, покрытого виноградными лозами.

И вот наконец наступила среда, день великих новостей, о котором я намерен рассказать тебе со всеми подробностями. Признаюсь, я с замиранием сердца готовился к посещению Астье, и волнение мое еще усилилось, когда я поднимался по старой лестнице, величественной и сырой, на Бонской улице. Что скажут о моей книге? Успел ли мой бывший учитель хотя бы раскрыть ее? Мнение этого прекраснейшего человека так важно для меня, он все еще сохранил в моих глазах обаяние наставника, перед которым я всегда буду чувствовать себя школьником. Его беспристрастная и верная оценка будет, без сомнения, разделена и Академией при присуждении премии Буассо. Поэтому понятно, с какой тревогой и нетерпением ждал я его в большом рабочем кабинете, предоставляемом мэтром в распоряжение г-жи Астье для ее еженедельных приемов.

Увы! Это уже не прежняя квартира в министерстве. Стол историка задвинут куда-то в угол и заставлен большой ширмой из старинной материи, закрывающей и часть книжного шкафа. Напротив него, на почетном месте, портрет г-жи Астье в молодости поражает своим сходством с сыном и со старым Рею, с которым я в тот же день имел честь познакомиться. От портрета веет скучным, холодным, словно напускным, достоинством, как и от этой большой комнаты без ковра, с темными драпировками на окнах, выходящих на еще более темный двор. Но вот вошла г-жа Астье, и ее радушный прием преобразил все вокруг. Что за свойство у парижского воздуха - сохранять вопреки годам прелесть женского лица, точно под стеклом картину, писанную пастелью! Хозяйка дома - блондинка с тонким лицом и острым взглядом - показалась мне помолодевшей года на три. Она сначала заговорила о тебе, о твоем здоровье, участливо осведомилась о нашей с тобой дружбе и потом,

оживившись, спросила:

- А ваша книга?.. Поговорим же о вашей книге!.. Какая прелесть!.. Я не могла от нее оторваться всю ночь…

За этим последовали похвалы, обличающие тонкое понимание, два-три стиха, безошибочно процитированные, уверения, что мой учитель Астье в восторге от книги; он просил ее передать мне это, в случае если не сможет прервать работу.

И без того не отличаясь бледностью, я, вероятно, стал багровым, словно к исходу охотничьего обеда. Однако мое радужное настроение тут же исчезло, когда бедная женщина проговорилась мне об их тяжелом положении. Денежные затруднения, опала, мэтр, работающий дни и ночи над своими историческими книгами, которые отнимают бесконечное количество времени, требуют больших затрат - и не продаются. А тут еще дед, старик Рею, которому приходится помогать: ведь его единственный доход - это академические жетоны, а в таком возрасте, в девяносто восемь лет, он требует немало забот и внимания! Поль, конечно, хороший сын, деловой человек и сумеет добиться своего, но начало карьеры сопряжено с трудностями. И г-жа Астье скрывает от него, в каких они тисках, скрывает это и от мужа, дорогого ей, столь далекого от жизни большого ученого, тяжелые, размеренные шаги которого раздавались над моей головой, в то время как жена его просила меня дрожащим голосом, подыскивая слова, делая над собой огромное усилие, не могу ли я… Ах, чудная, чудная женщина, я готов был целовать кружева ее платья!.. Тебе понятна теперь, дорогая сестричка, только что полученная тобою депеша, и ты догадываешься, для кого я прошу тебя прислать десять тысяч франков обратной почтой. Думаю, что ты тотчас же написала Гобино. Если я прямо не обратился к нему, то только потому, что у нас с тобой все “пополам” и что наши порывы великодушия и сострадания тоже должны быть общими, как и все остальное… Но, друг мой, разве не ужасно, что за лицевой стороной парижской жизни, полной блеска и славы, таится столько страданий?

Через пять минут после этих тяжких признаний, когда явились гости и комната наполнилась людьми, г-жа Астье поддерживала разговор, как ни в чем не бывало. По ее лицу и голосу можно было подумать, что перед вами счастливая женщина, а у меня мороз пробегал по коже. Встретился я там и

с г-жой Луазильон, женой непременного секретаря. Лучше было ей сидеть у постели больного мужа, чем надоедать всем рассказами о прелестях своей чудесной квартиры, самой удобной в Академии, к которой со времен Вильмена (*11) добавили еще три комнаты. И повторила она это, по крайней мере, раз десять резким голосом аукционного оценщика, к тому же в присутствии приятельницы, которая живет стесненно, в помещении бывшей ресторации.

Госпожа Анселен, имя которой часто упоминается в светской хронике, уж конечно, не позволит себе ничего подобного. Эта славная толстая дама, круглая, как шар, с румяным детским лицом, цедит слова или, вернее, словечки, которые она всюду подбирает и потом разносит по городу, - премилая особа! И она тоже всю ночь не могла оторваться от моей книги. Впрочем, не простая ли это любезность? Она радушно пригласила меня посещать ее салон, один из трех, где собираются и шумят академики. Пишераль сказал бы, что г-жа Анселен, обожающая театр, принимает преимущественно “лицедеев”, г-жа Астье - “книжных червей”, а герцогиня Падовани завладела “князьями” - академической знатью. Но, в сущности, эти три приюта интриг и славы не разделены стеной, и в среду на Бонской передо мной предстал разнообразнейший ассортимент Бессмертных всех категорий (*12): драматург Данжу, Русс, Буассье, Дюма, де Бретиньи, барон Юшенар - из Академии надписей и изящной словесности, князь д’Атис - из Академии моральных и политических наук. Сейчас возникает четвертый салон - салон г-жи Эвиза, круглолицей еврейки с продолговатыми прищуренными глазами; она флиртует со всей Французской академией, носит ее цвета, зеленые вышивки на весеннем жакете, и маленькую шапочку с крылышками Меркурия. Но флиртует она просто до неприличия… Я слышал, как она говорила Данжу, приглашая его к себе:

- О доме госпожи Анселен можно сказать: здесь обедают. О моем - здесь любят.

- Мне требуется и то и другое… И постель и пища, - холодно ответил Данжу.

Я думаю, что это отъявленный циник, хотя у него бесстрастное, суровое лицо и густая черная шевелюра - точь-в-точь итальянский пастух.

Госпожа Эвиза очень красноречива; у нее огромная эрудиция. Она цитировала старому барону Юшенару целые фразы из его “Пещерных людей” и спорила о Шелли с молоденьким критиком, сдержанным и торжественно молчаливым, в высоченном воротничке, подпиравшем его остроконечный подбородок.

Во времена моей молодости всегда начинали со стихов, даже те, что впоследствии подвизались в прозе или занимались делами или адвокатурой. Теперь начинают с критики, и преимущественно со статьи, посвященной Шелли. Г-жа Астье представила меня этому юнцу, с мнением которого считаются в литературном мире. Мои усы и загорелая физиономия скромного хлебопашца, очевидно, не пришлись ему по вкусу: мы обменялись с ним всего несколькими словами, и я стал наблюдать за комедией, разыгрываемой кандидатами в академики и их женами и родственниками, которые явились сюда, чтобы о себе напомнить, чтобы нащупать почву, ибо Рипо-Бабен уже совсем одряхлел, а Луазильон протянет недолго, - значит, в перспективе два кресла, и вокруг них уже скрещиваются злобные взгляды и ядовитые слова.

Дальзон, твой любимый романист, тоже был там: хорошее, открытое, умное лицо, такое же, как и его талант. Но до чего неприятно было бы тебе видеть, как он унижался и юлил перед таким ничтожеством, как Бретиньи, не сделавшим ничего путного за всю свою жизнь и занимающим в Академии место, специально отведенное для великосветского человека, место “нищего” за ужином в крещенский сочельник где-нибудь в провинции! Дальзон лебезил не только перед Бретиньи, но и перед каждым появлявшимся у г-жи Астье академиком, внимал анекдотам старого Рею и неизменно отзывался на остроты Данжу подленьким смехом школьника, который Ведрин еще в коллеже Людовика XIV называл “подлизыванием к учителю”. А все для того, чтобы вместо двенадцати голосов, полученных им в прошлом году, добиться необходимого большинства.

Старый Жан Рею ненадолго заглянул к своей внучке; он изумительно бодр, держится прямо, затянут в длинный сюртук; его маленькое лицо сморщено, как печеное яблоко, а короткая пушистая бородка напоминает мох на старом камне. У него живые глаза, поразительная память, только он глух, и это его очень печалит и вынуждает ограничиваться монологами из личных, весьма интересных воспоминаний. Сегодня он рассказывал нам об императрице Жозефине в интимной обстановке ее дворца Мальмезон и

называл ее “землячкой”, так как оба они креолы, уроженцы Мартиники. Он изображал ее нам в легких муслиновых платьях и в чудесных шалях, надушенной мускусом до одурения, окруженной тропическими цветами, которые даже во время войны галантно пропускались из колоний неприятельским флотом. Старик описывал также мастерскую Давида во времена Консульства, представлял нам художника со вздутой щекой и кривым ртом, точно набитым кашей, обращавшегося к ученикам на “ты” и покрикивавшего на них. И неизменно в конце каждого рассказа старец, свидетель стольких событий, кивая головой, глядя куда-то вдаль, громким голосом произносил: “Я сам это видел”, словно скрепляя своей подписью подлинность картины.

Должен заметить, что, кроме Дальзона, лицемерно упивавшегося словами старика, один только я из всех присутствующих со вниманием слушал рассказы этого патриарха, интересовавшие меня несравненно более, чем побасенки некоего Лаво - не то журналиста, не то библиотекаря, во всяком случае, чрезвычайно болтливого и осведомленного человека. Едва он успел показаться, как со всех сторон послышалось:

- А вот и Лаво!.. Лаво!..

Его окружают, раздаются возгласы, смех. Лица самых угрюмых академиков проясняются, когда они внимают анекдотам этого толстяка, похожего на святошу-каноника, бритого, с красной физиономией и глазами навыкате. Свои были и небылицы он пересыпает фразами: “Я говорил об этом Брольи… (*13) Дюма рассказывал мне вчера вечером… Я знаю это от герцогини…”; он ссылается на самые громкие имена, на всякого рода знаменитостей; он обласкан здешними дамами, которых вводит в курс всех интриг - академических, дипломатических, литературных и светских. Он на дружеской ноге с Данжу - тот говорит ему “ты”, - в коротких отношениях с князем д’Атисом, с которым прибыл сюда, относится свысока к Дальзону, а также и к молодому критику, написавшему статью о Шелли; одним словом, он представляет собой авторитет, силу, для меня совершенно необъяснимую.

В ворохе забавных историй, которыми он так и сыпал из своего неистощимого запаса, - по большей части это были загадки для меня, простодушного провинциала, - только одно происшествие остановило мое внимание: молоденький офицер папской гвардии граф Адриани, приехав в

Париж вместе с папским легатом для вручения, не помню кому именно, кардинальской шапки и скуфьи, забыл эти знаки кардинального достоинства у какой-то ночной дивы, встреченной им на вокзале по выходе из вагона; несчастный юноша в чужом городе не знал ни ее адреса, ни имени. Ему пришлось написать в Ватикан, прося заменить кардинальские головные уборы, с которыми девица, должно быть, не знала, что делать. Но лучше всего то, что юный граф Адриани - родной племянник нунция и что на последнем вечере у герцогини, - здесь говорят просто “герцогиня”, как в Муссо, - он по простоте душевной рассказал о происшествии на очаровательном жаргоне, которому мастерски подражает Лаво:

- “На вокзале его высокопреосвященство говорит мне: “Пепино! Возьми шапку…” А у меня уже была в руках скуфья… Значит, обе руки заняты”.

И Лаво изображает, как молодой, горячий папский птенец закатывает глаза, остановившись словно вкопанный перед уличной сиреной:

- “Cristo [Боже (итал.)], как она была хороша!..”

Среди смеха и восклицаний: “Прелестно!.. Ох уж этот Лаво!.. Ох уж этот Лаво!..” - я обратился к г-же Анселен, сидевшей рядом со мною:

- Кто такой этот господин Лаво? Чем он занимается?

Милейшая дама, по-видимому, была крайне изумлена.

- Лаво?.. А вы его не знаете? Да ведь это “зебра” герцогини!

Она вскочила и бросилась к Данжу. Я ничего не понял. Общество Парижа весьма своеобразно, словарь его обновляется каждый сезон. Зебра, зебра! Что означает это слово? Но мой визит и до того непозволительно затянулся, а мэтр так и не спустился вниз. Пора уходить. Я пробираюсь между креслами, чтобы проститься с хозяйкой дома, и, проходя, замечаю м-ль Мозер, плачущую в белую жилетку Бретиньи. Вот уже в течение десяти лет бедняга Мозер выставляет свою кандидатуру и, не решаясь теперь уже хлопотать лично, подсылает свою дочь, некрасивую перезрелую девицу, которая, жертвуя собой, как настоящая Антигона, подымается по лестницам, состоит на побегушках у академиков и их жен, всегда готова исполнить любое поручение, правит корректуры, ухаживает за ревматиками - убивает свою безрадостную жизнь старой девы в погоне

за креслом в Академии, которого ее отец никогда не добьется. Вся в черном, скромно одетая, причесанная не к лицу, она загородила выход. Неподалеку от нее Дальзон, очень взволнованный, распинается перед двумя академиками с лицами неумолимых судей и, задыхаясь, протестует:

- Неправда!.. Клевета!.. Никогда я этого не писал.

Новая загадка… Г-жа Астье, которая могла бы мне это разъяснить, поглощена конфиденциальной беседой с Лаво и князем д’Атисом.

Ты, сестра, наверное, не раз видела на дорогах Муссо в экипаже с герцогиней этого д’Атиса, Сами, как его называют, высокого худого человека, сутулого, лысого, с помятым, бледным, словно восковым лицом и черной бородой, которая доходит чуть не до самой груди, точно все его выпавшие волосы ушли в бороду. Он ни с кем не говорит, и когда смотрит на вас, то будто возмущается, что вы осмеливаетесь дышать одним воздухом с ним. Министр, сдержанный и проницательный дипломат английской складки, внучатый племянник лорда Пальмерстона, князь д’Атис на очень хорошем счету и во Французской академии, и в министерстве иностранных дел. Говорят, что он единственный из наших поверенных в делах, которому Бисмарк не решался смотреть прямо в глаза. По слухам, он скоро будет возглавлять одно из наших крупнейших посольств. Как поступит герцогиня? Последует за ним, покинет Париж? Это весьма серьезный вопрос для такой светской дамы. И как еще отнесутся в чужих краях к их связи? У нас она признана всеми, рассматривается как настоящее супружество благодаря их умению держать себя и соблюдать приличия, а также из-за тяжелого положения герцога: ведь он разбит параличом и на двадцать лет старше своей жены, которая к тому же приходится ему племянницей.

По-видимому, князь беседовал об этих весьма серьезных вещах с Лаво и г-жой Астье, когда я к ним подошел. Впервые попадая в какое-нибудь общество, ты вскоре замечаешь, как мало ты с ним связан, не понимаешь ни речей, ни мыслей, - словом, сознаешь себя лишним. Я собрался уже уходить, как вдруг добрейшая г-жа Астье подозвала меня:

- Подымитесь к нему… Он будет так рад!..

И вот я поднимаюсь к моему старому учителю по узенькой внутренней

лестнице. Из глубины коридора я слышу его громкий голос:

- Это вы, Фаж?

- Нет, дорогой мэтр.

- Да это Фрейде! Осторожно, нагнитесь…

В самом деле, на этих антресолях невозможно выпрямиться. Какая разница по сравнению с архивом министерства, где я видел его в последний раз в высокой галерее, сплошь заставленной полками с делами!

- Собачья конура, не правда ли? - сказал, улыбаясь, милейший старик. - Но если бы вы знали, какие тут сокровища!..

Он показал на высокий шкафчик для дел, заключавший в себе, по крайней мере, десять тысяч оригинальных редчайших документов, собранных им за последние годы.

- Вот откуда можно черпать историю, - твердил он, воодушевляясь и размахивая лупой для разбора рукописей. - И сколько здесь нового и бесспорного, не в обиду будь им сказано!

Он показался мне, однако, мрачным и расстроенным. Как жестоко с ним обошлись! Как грубо отрешили от должности, а затем, когда он продолжал выпускать исторические труды с прекрасной документацией, разве не стали распускать о нем слухи, будто он изъял материалы из архива Бурбонов? И откуда исходила эта клевета? Из самой Академии, от барона Юшенара, считающего себя крупнейшим собирателем автографов во Франции, которому коллекция Астье не дает спокойно спать. Вот из-за чего ведется эта война, лицемерная и беспощадная, в которой прибегают к вероломству и ударам из-за угла.

- Не щадят даже писем Карла Пятого… Подумать только: писем Карла Пятого! Пытаются оспаривать их подлинность… И почему, позвольте спросить? Из-за описки, из-за сущего пустяка: “мэтр Рабле” - вместо “брат мой Рабле”… Как будто императоры не могут обмолвиться!.. Придирка! Просто придирка!..

Видя, что я разделяю его негодование, мой добрый учитель, пожимая

мне руки, сказал:

- Оставим эти мерзости… Госпожа Астье, наверное, говорила вам о вашей книге. На мой взгляд, там есть кое-что лишнее… Ну, не беда, я доволен.

То, что он считает лишним в моих стихах, то, что он называет сорной травой, - это воображение, фантазия. Еще в лицее он воевал с нами по этому поводу, вырывая плевелы, очищая от них наши головы. Слушай же теперь, дорогая Жермен, что было дальше, передаю тебе слово в слово конец нашей беседы.

Я. - Полагаете ли вы, дорогой мэтр, что у меня есть некоторые шансы на получение премии Буассо?

Мэтр. - После этой книги, голубчик, вы достойны не премии, а места среди нас. Луазильон дышит на ладан. Рипо долго не протянет… Сидите смирно, предоставьте все это мне… С этой минуты я считаю вашу кандидатуру выдвинутой…

Что я ответил? Не помню. Такое радостное волнение охватило меня, что мне еще и теперь кажется, будто я грежу. Я, я - член Французской академии! Лечи свои бедные ноги, дорогая сестра, выздоравливай и приезжай в Париж к этому великому дню посмотреть, как твой брат при шпаге, в зеленом мундире, расшитом пальмами, займет место среди наиболее прославленных людей Франции. Даже голова кружится. Спешу поцеловать тебя и ложусь в постель.

Горячо любящий тебя брат

Абель де Фрейде.

Ты, конечно, понимаешь, что из-за таких событий я позабыл о семенах, о соломенных матах, о ягодных кустах, вообще о всех поручениях. Но я займусь этим в ближайшие дни. Я останусь здесь еще некоторое время. Астье-Рею настоятельно советовал мне ничего не говорить о моем деле, но вращаться в академических кругах. Бывать повсюду, напоминать о себе - это главное!”

4

- Берегись, милый мой Фрейде!.. Я знаю такие приемы - это просто вербовка… В сущности, люди эти чуют, что их песенка спета, что они покрываются плесенью под своим куполом… Академия выходит из моды, она больше не является предметом честолюбивых вожделений… Ее слава - одна видимость… Поэтому вот уже несколько лет, как эта корпорация знаменитостей не ждет клиентов, а выходит на улицу и зазывает их. Повсюду - в обществе, в мастерской художника, у издателей, за кулисами театров, во всех литературных и артистических кругах - вы встретите академика-вербовщика, улыбающегося молодым, подающим надежды талантам: “Академия не теряет вас из виду, молодой человек!” Если же автор приобрел известность, если у него выходит третья или четвертая книга, как у тебя, например, приглашение делается в более прямой форме: “Подумайте о нас, уже настало время…” Или грубовато, словно журя: “Да что вы, в самом деле, пренебрегаете нами?..” Так же, хотя более вкрадчиво и мягко, поступают они по отношению к человеку из высшего круга, переводчику Ариосто или сочинителю салонных комедий: “Знаете… кроме шуток… Не думаете ли вы…” И если светский человек начинает возражать, ссылаясь на отсутствие заслуг, на незначительность своей персоны и скудость литературного багажа, вербовщик отвечает ему набившей оскомину фразой: “Академия - это салон…” Черт подери! И потрудилась же эта фраза на своем веку: “Академия - это салон… Она принимает не только произведение, но и человека…” А пока что вербовщика приглашают к себе, оказывают ему всевозможные любезности, зовут на обеды и торжества… Пробудив надежды и старательно их поддерживая, он становится паразитом, за которым всячески ухаживают…

Тут уже добряк Фрейде не выдержал. Никогда его учитель Астье не пойдет на такие низости. Ведрин, пожав плечами, продолжал:

- Он? Да он худший из них: это убежденный, бескорыстный вербовщик… Он верует в Академию, он живет ею, и когда он восклицает: “Если бы вы знали, как это прекрасно!”, причмокивая при этом языком, словно смакует спелый персик, - он говорит вполне искренне, и приманка его действует тем сильнее, тем она опаснее. Как только рыбка клюнула и

попалась на крючок, Академия перестает заниматься своей жертвой, предоставляя ей метаться и барахтаться в грязи… Ты вот страстный рыболов; когда тебе случается поймать большого окуня или щуку и ты тянешь рыбу за своей лодкой, как это у вас называется?

- Водить рыбу…

- Правильно! Посмотри хотя бы на Мозера. Разве он не похож на пойманную рыбу?.. Десять лет его тащат на буксире… И де Селеля, и Герино, и мало ли еще таких, которые уже и сопротивляться перестали.

- Но позволь; ведь попадают же в Академию, достигают этой цели…

- Только не на буксире! А если ты и добьешься этого великого счастья, подумаешь!.. Что это дает?.. Деньги? Ты получаешь несравненно больше за свое сено… Известность? Разве что где-нибудь в уголке сельской церкви величиною в мою ладонь… Если бы еще этим приобретался талант, если бы тот, кто им наделен, не утрачивал его, попав туда - в ледяной холод дворца Мазарини! “Академия - это салон”. Понимаешь, что это значит? Приходится подчиняться общему тону, не касаться определенных вопросов или смягчать их. Прощайте, вдохновенные порывы, прощайте, смелые дерзания! Самые пылкие стихают, не смеют пошевельнуться из боязни за свой зеленый мундир - все равно что дети, которых нарядят в воскресный день, а потом скажут: “Играйте, забавляйтесь, но только, упаси боже, не перепачкайтесь”. Можно себе представить, как они забавляются… Бессмертным остается, конечно, лесть, расточаемая им в академических кухнях, и обожание прекрасных дам, которые там подвизаются. По до чего же это скучно! Я знаю это по собственному опыту. Меня не раз туда таскали. Да, как говорит старик Рею: “Я сам это видел…” Напыщенные дуры произносят фразы, заимствованные из журналов и плохо ими переваренные, которые вылетают у них изо рта, точно ленточки с надписями у персонажей ребуса. Я слышал, как госпожа Анселен, эта толстая кумушка, глупая, как гусыня, гоготала от восторга, внимая остротам Данжу, театральным репликам, состряпанным на скорую руку и столь же малоестественным, как завитки его парика…

Фрейде был ошарашен: Данжу, этот итальянский пастух, и вдруг в парике!

- О, не настоящий парик, а только накладка!.. Я выдерживал у госпожи Астье чтения по этнографии, способные убить гиппопотама, а у герцогини, надменной и строгой в обхождении, встречал эту старую обезьяну Ланибуара, занимающего почетное место, который вел себя столь непристойно, что всякому другому - не Бессмертному - давно бы указали на дверь каким-нибудь словечком, во вкусе Падовани, уверяю тебя… Забавнее всего, что Ланибуар попал в Академию только благодаря герцогине; он униженно ползал у ее ног, молил и клянчил, чтобы она ему помогла… “Выберите его, - говорила герцогиня моему кузену Луазильону, - выберите, чтобы мне от него избавиться…” Теперь же она чтит его, как бога, сажает за столом рядом с собой, заменив былое презрение самым пошлым поклонением - точь-в-точь как дикарь, который преклоняет колени и трепещет перед идолом, сделанным его же руками. О, я знаю эти академические салоны: глупость, пошлость, мерзкие интрижки!.. И ты стремишься туда? Скажи на милость, - зачем? Живешь ты так, что лучше и желать нельзя. Я ведь ничем не дорожу, а чуть не позавидовал тебе, глядя на вас с сестрой в Кло-Жалланже: чудесный дом на пригорке, высокие потолки, огромные камины, в которых может поместиться человек, кругом дубы, поля, виноградники и река. Словом, привольная жизнь барина-помещика, как ее описывает в своих романах Толстой: рыбная ловля, охота, хорошие книги, не очень глупые соседи, не слишком плутоватые фермеры, наконец - чтобы не отупеть в этом постоянном благополучии, - улыбка твоей больной сестры, такой утонченной, такой живой, несмотря на недуг, приковавший ее к креслу, такой счастливой, когда ты, возвратясь с прогулки на вольном воздухе, читаешь ей хороший сонет или стихи, навеянные природой, льющиеся из самой глубины души, которые ты набросал карандашом, сидя верхом на лошади или лежа ничком в траве, вот как мы сейчас, только без этого страшного грохота ломовых телег и воя труб…

Ведрину пришлось умолкнуть. Тяжелые подводы, груженные железным ломом, сотрясавшие землю и дома, оглушительный звук рожка в соседней драгунской казарме, хриплый рев буксирной сирены, шарманка, звон колоколов церкви св.Клотильды - все слилось в ужасную какофонию, рождаемую порой гулом большого города. Контраст был поистине разителен между этим ошеломляющим шумом столпотворения вавилонского, грохотавшим поблизости, и лужком, поросшим дикими злаками и папоротником, под тенью высоких зеленых деревьев, где два бывших воспитанника коллежа Людовика XIV курили и вели задушевную

беседу.

Происходило это на углу набережной Орсе и улицы Бельшасс, на разрушенной террасе бывшей Счетной палаты, наводненной душистыми, буйно растущими травами и похожей на каменоломню среди лесной чащи ранней весной… Широко раскинувшиеся кусты уже отцветавшей сирени, купы платанов и кленов тянулись вдоль обвитой плющом и повиликой каменной балюстрады, образуя зеленый тенистый приют, где летали голуби и кружились пчелы, где пробившийся сквозь листву солнечный луч озарял спокойный, прекрасный профиль г-жи Ведрин, кормившей грудью свою малютку, меж тем как старший сынишка камнями отгонял разномастных кошек - серых, черных, рыжих, населявших, точно тигры, эти джунгли в самом сердце Парижа.

- И уж если речь зашла о твоих стихах, - ведь с тобой можно говорить откровенно, дружище? - от твоей книги, по правде сказать, от твоей новой книги, - хотя я в нее только заглянул, - на меня не повеяло тем чудесным ароматом ландыша и дикой мяты, которым напоены были другие. “Бог в природе” пахнет академическими лаврами, и я боюсь, что присущие тебе прелестные нотки в духе Бризе (*14), вся свежесть лесов на этот раз принесены в жертву, брошены, как взятка, в пасть Крокодила.

Эта кличка “Крокодил”, отысканная в дебрях школьных воспоминаний, на минуту позабавила друзей. Им ясно представился Астье-Рею на кафедре, с вспотевшим лбом, сдвинутой на затылок ермолкой, с красной лентой, длиною в целый фут, на черной тоге, сопровождающий величественным взмахом рук в широких рукавах свои избитые остроты: “Гоните, гоните их прочь, они везде напакостили”, или прибегающий в своих поучениях к округлым периодам в стиле Вик д’Азира (*15), кресло которого он впоследствии занял. Но тут совесть стала укорять Фрейде за глумление над старым учителем, и он принялся превозносить его исторические труды, - Астье перетряхнул ведь столько архивов, впервые сдунул с них пыль.

- Вздор! - ответил Ведрин с величайшим презрением.

По его мнению, самые любопытные архивные материалы в руках глупца значат так же мало, как ценнейший человеческий документ, которым воспользовался дурак романист. Золотой червонец, обращенный в сухой

лист!

- Посуди сам, - продолжал Ведрин, оживляясь. - Разве заслуживает звания историка всякий, кто собирает неизданные документы в объемистые тома, которых никто не читает и которые красуются только на полках книжных шкафов в разделе общеобразовательной литературы? Книги, которые выставляются напоказ, перелистываются, но ими не пользуются. Лишь французское легкомыслие может принимать всерьез такие компиляции. Издеваются же над нами англичане и немцы. “Vir ineptissimus Astier-Rehu”, - говорит Момзен (*16) в одной из своих заметок.

- И это ты, чурбан, заставил несчастного Астье прочесть заметку Момзена, да еще при всем классе!

- Ну и досталось же мне тогда на орехи, не меньше, чем в тот день, когда, устав слушать его излюбленное изречение, что воля - это домкрат, что при помощи такого домкрата можно всего достигнуть, я крикнул со своей скамьи, передразнивая его: “А крылья, господин Астье, а крылья!”

Фрейде рассмеялся и, оставив в стороне заслуги историка, перешел к педагогической деятельности мэтра, пытаясь защитить его как преподавателя. Но Ведрин распалился еще больше:

- Толкуй! Хороший педагог! Вся жизнь этого ничтожества ушла на то, чтобы удалить, вырвать из умов “сорную траву”, то есть все оригинальное и самобытное, те ростки жизни, которые учитель прежде всего должен поддерживать и охранять… А этот негодяй - вспомни, как он нас подчищал, ощипывал, подравнивал… Были и такие, которые не поддавались его заступу и скребку, но старик не щадил ни ногтей, ни орудий и добивался того, что мы становились чистенькими и гладенькими, как школьная скамья. Полюбуйся на тех, кто прошел через его руки, за исключением некоторых бунтарей, как, например, Эрше, который в своей ненависти к рутине доходит до крайности и непристойности. Или я - я, обязанный этому старому шуту своей страстью ко всему угловатому и несуразному, даже своей скульптурой, напоминающей, как говорят, мешки, набитые орехами… Остальные отупели, выхолощены, подстрижены под одну гребенку.

- Ну, а я? - воскликнул Фрейде, до смешного волнуясь.

- Тебя пока что спасала природа, но если ты снова попадешь в лапы Крокодила, то берегись. Подумать только: существуют государственные школы, одаряющие нас такими педагогами, и за все это платят жалованье, дают ордена, выбирают даже в академики…

Растянувшись на буйно растущей траве, подперев рукой голову, размахивая папоротником, которым он защищался от солнца, Ведрин спокойно произносил эти резкие слова. Ни один мускул не дрогнул на его широком лице индийского идола, одутловатом и бледном, безучастно-задумчивое выражение которого оживляли маленькие смеющиеся глазки.

Его друг, привыкший чтить авторитеты, был совсем сбит с толку.

- Как же ты умудряешься быть в дружбе с сыном, когда ты так ненавидишь отца?

- Я дружен с ним не более, чем с отцом. Поль Астье занимает меня своим апломбом отъявленного нахала и рожицей хорошенькой негодницы… Хотелось бы пожить подольше, чтобы посмотреть, что из него выйдет…

- Ах, господин Фрейде! - вмешалась г-жа Ведрин. - Если бы вы знали, как он эксплуатирует моего мужа!.. Ведь всю реставрацию Муссо, новую галерею, выходящую на реку, музыкальный павильон, часовню - все это сделал Ведрин, и гробницу князя Розена тоже! А заплатят ему только за статую, тогда как и замысел, и весь проект - все, до последней мелочи, сделано мужем.

- Оставь, оставь! - сказал художник по-прежнему невозмутимо. - Черт возьми! Муссо! Никогда бы этому шалопаю не удалось отыскать ни одного старинного орнамента под толстым пластом благоглупостей, который так называемые “архитекторы” накладывали на здание в течение тридцати лет. Местность там чудесная, герцогиня любезна и проста в обхождении, а тут еще мы нашли в Кло-Жалланже нашего друга Фрейде… И потом… ну как бы тебе сказать?.. Я полон замыслов, они теснят и гложут меня… Освободить меня от некоторых из них - значит оказать мне услугу… Мой мозг напоминает узловую станцию, на которой паровозы разводят пары на всех путях, снуют во всех направлениях… Молодой человек это понял. У него не хватает выдумки, и он меня обкрадывает, приспособляет мои

мысли к вкусам публики, - он уверен, что я не буду протестовать… Но чтобы меня обмануть!.. Я вижу, когда он собирается что-нибудь стибрить у меня… Лицо его становится насмешливым, глаза смотрят безучастно, и вдруг едва уловимая нервная гримаса подернет уголок рта. Готово!.. Сцапал!.. Про себя он, наверное, думает: “Боже мой! Ну и дурак же этот Ведрин!” Он и не подозревает, что я вижу его насквозь, что я восхищаюсь им… А теперь, - сказал скульптор, вставая, - я покажу тебе паладина, потом мы осмотрим всю эту трущобу… Здесь прелюбопытно, вот увидишь.

Они вошли во дворец, поднялись на полукруглое крыльцо, куда вело несколько ступенек, и миновали квадратную залу - бывшую канцелярию Государственного совета - без паркета и без потолка: вся верхняя часть постройки обвалилась, между разделявшими этажи огромными железными балками, скрючившимися от огня, проглядывала синева неба. В углу, у самой стены с нависшими на ней длинными чугунными трубами, сплошь увитыми ползучими растениями, валялся в крапиве и мусоре разбитый на три куска гипсовый слепок гробницы князя де Розена.

- Видишь? - спросил Ведрин. - Нет, ты так ничего не разберешь…

И он принялся описывать памятник. Нелегко было угодить капризам молодой вдовушки; пришлось делать эскизы, обращаться к египетским и ассирийским образцам, прежде чем дойти до проекта Ведрина. Архитекторы, узрев проект, подняли бы вой, но все же ему нельзя отказать в величии. Настоящая гробница воина - открытая палатка с приподнятыми полами, внутри, перед алтарем, широкий низкий саркофаг, высеченный в виде походной кровати; на ней покоится добрый рыцарь-крестоносец, сложивший голову за своего короля и за веру, рядом с ним сломанный меч, у его ног разлеглась борзая собака.

Из-за твердости далматинского гранита, которым княгиня особенно дорожила, Ведрин принужден был взяться за молот и резец и трудиться под брезентовым навесом на кладбище Пер-Лашез как чернорабочий. Наконец после долгого и упорного труда мавзолей был закончен.

- А вся слава достанется молодому мерзавцу Полю Астье, - добавил скульптор, улыбаясь без малейшей горечи.

Он приподнял старый ковер, которым было завешено отверстие в стене, где когда-то была дверь, и провел Фрейде в огромный вестибюль, служивший ему мастерской, с дощатым потолком, с циновками и кусками различных тканей, наброшенными на разрушающийся пол и стены. Своим видом и царившим здесь беспорядком мастерская напоминала амбар или, вернее, крытый двор, ибо в залитом солнцем углу росла чудесная смоковница с переплетавшимися ветвями и декоративными листьями, а рядом с ней остов лопнувшей печи имел вид старого колодца, увитого плющом и жимолостью. Здесь скульптор работал уже два года, зиму и лето, не смущаясь ни туманами, поднимавшимися над рекой, ни ледяными убийственными ветрами. “Ни разу не чихнул”, - уверял Ведрин, невозмутимо спокойный и могучий, подобно великим художникам Ренессанса, похожий на них и широким лицом, и неистощимым воображением. Вот и сейчас он по горло сыт скульптурой и архитектурой, будто только что кончил писать скучнейшую трагедию. Как только он сдаст свою статую и получит деньги, он уедет, поднимется по Нилу в дахабиэ (*17) со своим многочисленным семейством и будет писать маслом, писать с утра до вечера… Он отставил скамейку и табурет и подвел своего друга к огромной, еще не окончательно обработанной глыбе.

- Вот мой паладин… Скажи откровенно, как ты его находишь?

Фрейде был несколько озадачен и смущен колоссальными размерами распростертого перед ним воина, превосходившего нормальные масштабы, изваянного в соответствии с высотой шатра. В этой неотделанной гипсовой фигуре резко бросалась в глаза ее атлетическая мускулатура, которая придавала произведению Ведрина, ненавидевшего все приглаженное, вид чего-то незаконченного, громоздкого, доисторического, вид прекрасного творения, еще не получившего окончательной формы. Однако чем дольше Фрейде смотрел, чем глубже он вникал, тем сильнее веяло на него от огромной статуи силой лучезарной и притягательной - самым прекрасным, что есть в искусстве.

- Превосходно, - произнес он убежденно.

Его друг прищурился.

- Но не с первого взгляда, не так ли? - сказал он, добродушно посмеиваясь. - Надо привыкнуть к моей скульптуре, и я очень боюсь, что

княгиня, увидев это чудище…

Поль Астье обещал привести ее на днях, как только статуя будет закончена, отделана, готова к отливке. Это посещение тревожило художника, знавшего вкусы светских женщин. Не раз слышал он на вернисаже, когда за вход платят пять франков, шаблонную, пошлую болтовню, беспощадную к скульптуре. И как лгут эти дамы, как лезут из кожи! Искренен только их интерес к весенним нарядам, заказанным для Салона, где им представляется случай блеснуть.

- Впрочем, старина, - продолжал Ведрин, уводя своего друга из мастерской, - из всех гримас парижской жизни, из всей лжи общества нет ничего более нелепого и комичного, чем это благоговение перед произведениями искусства. Кривлянье, от которого можно лопнуть со смеху. Все соблюдают ритуал, хотя никто не верует. Точно так же и с музыкой… Посмотрел бы ты на этих прелестниц в воскресенье!..

Друзья пошли по длинному сводчатому коридору, тоже заполненному странной растительностью, семена которой, занесенные сюда со всех концов света, разбухали и покрывали зеленью взрыхленную землю; ростки пробивались между живописью на разрушенных и почерневших от огня стенах. Отсюда Ведрин и Фрейде повернули на главный двор, когда-то усыпанный песком, а теперь превратившийся в поле, где вперемешку росли дикий овес, подорожник, люцерна и крестовник, колосясь и спутывая свои бесчисленные чашечки. Посреди двора досками были отгорожены грядки, на которых цвел подсолнух, зрела клубника и тыква, - садик переселенца на опушке девственного леса, и в довершение иллюзии к нему примыкало маленькое кирпичное строение.

- Сад переплетчика и его мастерская, - заметил Ведрин, указывая на выведенную огромными буквами надпись над полуоткрытой дверью:

АЛЬБЕН ФАЖ

Переплеты всех видов

Фаж, переплетчик Счетной палаты и Государственного совета, получивший разрешение остаться в своем домишке, уцелевшем после пожара, да еще привратница были единственными обитателями дворца.

- Зайдем к нему на минутку, - предложил Ведрин. - Ты увидишь: это прелюбопытный субъект…

Подойдя ближе к домику, он крикнул:

- Эй, дядюшка Фаж!

Скромная мастерская переплетчика была пуста. На верстаке у окна валялись обрезки и большие ножницы для разрезания картона, а под прессом лежали зеленые шнуровые книги с медными наугольниками. Особенность обстановки этого жилища заключалась в том, что швальный станок, стол на козлах, пустой стул перед ним, этажерки с наваленными на них книгами, даже зеркало для бритья - все было очень малых размеров, все рассчитано на рост и пределы досягаемости двенадцатилетнего ребенка. Можно было подумать, что это домик карлика, переплетчика в стране лилипутов.

- Это горбун, - шепнул Ведрин своему другу, - но горбун-юбочник, который душится и помадится…

Противный запах парикмахерской, розовой эссенции и духов от Любена смешивался с запахом клея, так что становилось не по себе. Ведрин еще раз окликнул хозяина, повернувшись в ту сторону, где была спальня переплетчика; потом друзья вышли. Фрейде очень забавляла мысль об этом горбатом ловеласе.

- Быть может, он пошел на свидание…

- Смейся, смейся! Должен тебе сказать, дорогой мой, что этот горбун добывает себе самых хорошеньких женщин Парижа, если верить стенам его комнаты, увешанным фотографиями с собственноручными надписями: “Милому моему Альбену”, “Дорогому крошке Фажу”. И не какие-нибудь потаскушки, а певички, шикарные кокотки. Сюда он их никогда не приводит, но время от времени, исчезнув на два-три дня, он козырем входит ко мне в мастерскую и рассказывает, отвратительно осклабившись, что преподнес себе “объемистый том” или “очаровательный томик” - так

он называет побежденных им красоток в зависимости от их роста и сложения.

- Ты говоришь, он безобразен?

- Урод.

- Без средств?

- Ничтожный, мелкий переплетчик и картонажник, который живет только своей работой и своими овощами… Но он очень умен, начитан, обладает редкой памятью… Мы, наверно, встретим его в каком-нибудь закоулке, он любит бродить по дворцу… Дядюшка Фаж - большой мечтатель, как и все люди со страстями. Иди за мной и смотри под ноги, здесь надо ходить с опаской.

Они начали подыматься по широкой лестнице, первые ступеньки которой еще сохранились, как и перила, заржавевшие, местами покоробленные. Друзьям пришлось перейти по шаткому деревянному мостику, державшемуся на поперечных брусьях, между высокими стенами, на которых еще уцелели остатки огромных, покрытых трещинами фресок, стертых и закоптевших, - круп лошади, обнаженный женский торс, - с едва заметными надписями на виньетках, утративших позолоту: “Созерцание”, (Тишина”, “Торговля сближает народы”.

Во втором этаже длинный коридор под круглым сводом, как на цирковых аренах Арля и Нима, терялся между почерневшими, потрескавшимися стенами, освещенный лучами солнца, кое-где пробивавшимися в широкие щели, заваленный штукатуркой и чугунным ломом, заросший бурьяном. При входе в коридор на стене красовалась надпись: “Помещение для дежурных чиновников”. Коридор этот походил на нижний, только кровля здесь обвалилась, и он превратился в длинную площадку, заросшую частым кустарником, который поднимался к уцелевшим сводам и спускался до уровня главного двора, словно разросшиеся косматые лианы. Отсюда виднелись крыши соседних домов, белые стены казармы на улице Пуатье, высокие платаны перед особняком Падовани, на вершине которых качались гнезда ворон, покинутые и опустевшие до зимы, а внизу - безлюдный двор, залитый солнцем, сад переплетчика и его домик.

- Посмотри, дружище, какое изобилие, какое изобилие!.. - говорил Ведрин, указывая другу на дикую растительность, такую богатую и разнообразную, заполонившую весь дворец. - Если бы Крокодил это увидел, вот бы рассвирепел!

И вдруг, отступив на несколько шагов, воскликнул?

- Ну, это уже слишком!..

Внизу возле домика переплетчика появился Астье-Рею. Его легко было узнать по длиннополому сюртуку серовато-зеленого цвета, по широкому плоскому цилиндру. На левом берегу Сены эта шляпа, сдвинутая на затылок, на седые кудри, образовывавшие ореол вокруг головы этого архангела бакалавров, самого Крокодила, пользовалась широкой известностью. Академик оживленно беседовал с маленьким человечком, стоявшим с непокрытой головой, блестевшей от помады, одетым в светлый, плотно облегавший его фигурку пиджак, под которым выделялась, точно из особого кокетства, его уродливая спина. Слов нельзя было разобрать, но Астье казался очень взволнованным: он размахивал тростью, нагибался всем корпусом к самому лицу человечка, а тот, очень спокойный, с сосредоточенным видом, стоял, заложив большие руки за спину, под самый горб.

- Значит, он, этот ублюдок, работает для Академии? - спросил Фрейде, припомнив, что мэтр называл имя Фажа.

Ведрин ничего не ответил, - он следил за мимикой собеседников, спор которых, однако, внезапно оборвался. Горбун пошел к себе, пожимая плечами, словно говоря: “Как вам угодно”, а Астье-Рею, видимо, взбешенный, быстрым шагом направился к выходу из дворца на улицу Лилль, затем, будто передумав, вернулся в мастерскую, и дверь ее за ним захлопнулась.

- Странно, - прошептал скульптор. - Отчего же Фаж мне никогда ничего не говорил?.. Ну и скрытен же этот человек!.. Кто их знает: может быть, они вместе занимаются этой игрой - охотятся за томами и томиками.

- Что ты, Ведрин!..

Фрейде, простившись с приятелем, шел, не торопясь, по набережной Орсе, думая о своей книге, об Академии, о своих честолюбивых мечтах, значительно, впрочем, охладев к ним после тех жестоких истин, которые ему пришлось сейчас выслушать. Как люди, однако, мало меняются!.. Уже в раннем возрасте проявляются наши характерные черты… Спустя двадцать пять лет, с морщинами на лицах, поседевшие, под тем гримом, который накладывает на людей жизнь, однокашники из коллежа Людовика XIV остались такими же, какими были на школьной скамье; один - резкий, увлекающийся, вечно бунтующий, готовый к борьбе; другой - послушный, преклоняющийся перед авторитетами, с ленцой, еще развившейся в тиши полей. В конце концов Ведрин, может быть, и прав: даже при уверенности в успехе стоит ли тратить столько усилий? Особенно он тревожился за больную сестру, - бедняжке придется в полном одиночестве оставаться в Кло-Жалланже, пока он будет хлопотать о кресле в Академии и делать необходимые визиты. А разлука с ним даже на несколько дней всегда волновала ее и печалила; еще сегодня утром он получил от нее душераздирающее письмо.

Проходя мимо драгунских казарм, Фрейде отвлекся от своих мыслей, увидев на другой стороне мостовой голодных людей, ожидавших раздачи остатков солдатской похлебки. Явившись спозаранку из боязни потерять свою порцию, они сидели на скамейках или стояли вдоль парапета набережной, с землистыми лицами, чумазые, с давно не стриженными волосами и бородами, напоминая одичавших псов, ободранные, точно после кораблекрушения. Они не двигались с места, не говорили друг с другом, толпились, как стадо, подстерегая в глубине большого двора казармы появление солдатских котелков и знак сержанта, разрешающий им приблизиться. Как страшен был в такой чудесный день ряд этих безмолвных людей с глазами хищников, голодных, тянущихся с одинаковым животным выражением на лицах к раскрытым настежь воротам!

- Что вы тут делаете, голубчик?

Астье-Рею, сияя от удовольствия, взял под руку своего ученика. Он взглянул в направлении, указанном поэтом, и увидел на противоположном тротуаре эту потрясающую картину парижской жизни.

- Да, да… Конечно… конечно…

Но его близорукие глаза педагога умели читать только в книгах, они не воспринимали живой действительности, смотрели мимо жизни. Даже в том, как он увлекал отсюда Фрейде, в тоне, которым он сказал, уводя его за собой: “Проводите меня до Академии” - чувствовалось, что мэтр не одобряет ротозейства на улице, требует большей степенности. Слегка опираясь на руку своего любимого ученика, он поделился с ним своей радостью, своим восторгом по случаю изумительной находки, которую ему только что посчастливилось сделать: он приобрел письмо Екатерины II к Дидро касательно Академии, и как раз теперь, когда ему в ближайшие дни предстоит обратиться с приветствием к великому князю. Он предполагал огласить на заседании это чудо из чудес, возможно, даже преподнести его высочеству от имени Академии автограф его прабабки! Барон Юшенар, наверно, лопнет от зависти.

- Кстати, вы что-нибудь слыхали по поводу моих писем Карла Пятого? Все это клевета, чистейшая клевета… У меня здесь есть нечто такое, что приведет в замешательство этого зоила.

Своей толстой рукой с короткими пальцами он ударил по туго набитому кожаному портфелю, а затем, охваченный радостным волнением, желая, чтобы и Фрейде был счастлив, снова вернулся к вчерашнему разговору, к его кандидатуре на первое же вакантное академическое кресло. Это будет чудесно - учитель и ученик, сидящие рядом под куполом дворца Мазарини!

- Вы увидите, до чего это прекрасно, как у нас хорошо… Этого нельзя себе даже и представить, пока сам не испытаешь.

Казалось, стоит только войти туда - и настанет конец горестям и житейским невзгодам. Они теснятся у порога, не смея его переступить. Высоко парят избранники в мире и тишине, в сиянии, недосягаемом для зависти, для осуждения. Все им дано, все, и желать уже больше нечего… Ах, Академия, Академия! Ее хулители говорят о ней, не зная ее, или из злобной зависти, не имея возможности в нее попасть. Обезьяны бесхвостые!

Его зычный голос гремел, заставляя оборачиваться прохожих на набережной. Некоторые узнавали его, произносили его имя. Стоя на пороге лавок, книгопродавцы и торговцы редкостями и гравюрами, привыкшие видеть Астье-Рею в определенное время дня, приветствовали его,

почтительно пятясь назад.

- Фрейде! Смотрите сюда…

Мэтр указал на дворец Мазарини, к которому они приближались.

- Вот она, Французская академия. Такой она предстала передо мной в ранней юности, когда я увидел ее на фирменном знаке изданий Дидо (*18), и тогда еще я сказал себе: “Я войду туда…” - и вошел… Теперь ваша очередь желать этого, друг мой… До свиданья!..

Бодрым шагом поднялся он на левое крыльцо главного здания и двинулся по тянувшимся один за другим большим, мощеным, погруженным в безмолвие величественным дворам, где его длинная тень стлалась по земле.

Он уже скрылся из виду, а Фрейде все еще смотрел ему вслед, не двигаясь с места, вновь охваченный волнением, и на его славном загорелом полном лице, в его кротких глазах навыкате застыло то же молящее выражение, что и на лицах бездомных бродяг, ожидавших там, у казармы, солдатской похлебки. И с тех пор, когда он смотрел на дворец Мазарини, лицо его всегда принимало это выражение.

5

Сегодня вечером в особняке Падовани парадный обед, потом прием для друзей. Великий князь за столом своего “очаровательнейшего друга” - как он называет герцогиню - принимает академиков из разных секций Французской академии, платя, таким образом, любезностью за их прием, за фимиам, воскуренный в его честь президентом. Как всегда, у бывшей посланницы дипломатический мир представлен блестяще, но Академия первенствует, и само размещение гостей за столом указывает на значение этого обеда. Великий князь сидит напротив хозяйки дома, по правую руку от него г-жа Астье, по левую - графиня Фодер, жена первого секретаря финляндского посольства, исполняющего обязанности посла. Место справа от герцогини занимает Леонар Астье, слева - папский нунций Адриани. Затем следуют член Академии надписей и изящной словесности барон Юшенар, турецкий посланник Мурад-бей, академик Дельпеш, химик, бельгийский посол, член Академии изящных искусств композитор Ландри, драматург Данжу, один из “лицедеев” Пишераля, и, наконец, князь д’Атис - министр и член Академии моральных и политических наук, который своими двумя званиями еще более подчеркивает оба оттенка этого салона. В конце стола сидят адъютант его высочества, рядом с ним папский гвардеец юный граф Адриани, племянник нунция, и Лаво - непременный участник всех празднеств.

Женский пол не блещет красотой. Маленькая, рыжая, вертлявая, укутанная кружевами до кончика своего остренького носика, графиня Фодер похожа на простуженную белку. Баронесса Юшенар, усатая, неопределенного возраста, производит впечатление старого жирного декольтированного мужчины. Г-жа Астье, в бархатном полузакрытом платье (подарок герцогини), жертвует ради своей дорогой Антонии удовольствием обнажить еще хорошо сохранившиеся руки и плечи. Благодаря этой любезности герцогиня Падовани кажется единственной женщиной за столом: высокая, в белоснежном платье от знаменитого портного, с маленькой головкой, с прекрасными лучистыми глазами, гордыми и живыми, то бесконечно добрыми и нежными, то сверкающими гневом из-под густых, почти сросшихся черных бровей, с небольшим

носом, чувственным, своевольным ртом и ослепительным, как у тридцатилетней женщины, цветом лица, который герцогиня не утратила благодаря привычке проводить в постели послеобеденные часы, если вечером она принимала у себя или выезжала в свет. Прожив долгое время за границей, когда ее муж был послом в Вене, Санкт-Петербурге и Константинополе, привыкшая задавать тон в качестве официальной представительницы французского общества, она сохранила и доныне манеру поучать и наставлять, чего ей не могут простить парижанки. Говорит она с ними слегка наклонившись, как с иностранками, объясняет то, что они сами знают не хуже ее. Герцогиня в своем салоне на улице Пуатье продолжает представлять Париж у курдов - пожалуй, единственный недостаток этой благородной и блестящей женщины.

Несмотря на почти полное отсутствие женщин в светлых туалетах с обнаженными руками и плечами, приятно нарушающих переливами своих бриллиантов и цветов однообразие черных фраков, обеденный стол все же оживляют фиолетовая сутана нунция с широким муаровым поясом, красная феска Мурад-бея и красный мундир графа Адриани с золотым воротом, голубым шитьем и золотым галуном на груди, на которой красуется огромный крест Почетного легиона, полученный сегодня утром молодым итальянцем: в Елисейском дворце сочли необходимым вознаградить его за блестяще выполненную миссию по доставке знаков кардинальского достоинства. Всюду выделяются яркими пятнами зеленые, синие и красные ленты; матовым серебром светятся ордена, лучатся звезды.

Десять часов. Обед подходит к концу, но цветы, благоухающие в массивных вазах посреди стола и перед каждым прибором, все так же свежи, ни один лепесток не помят, не произнесено ни одного громкого слова, не допущено ни одного резкого движения. А между тем стол у герцогини изысканный, погреб отличный, что теперь большая редкость в Париже. Чувствуется, что в особняке Падовани кто-то придает этому огромное значение, - конечно, не сама герцогиня, настоящая светская француженка, довольная обедом, когда на ней платье к лицу, когда стол богато сервирован и уставлен цветами, но возлюбленный хозяйки, князь д’Атис, крайне привередлив: желудок у него, отравленный кухнями клубов, не варит, и князь не согласен питаться лишь видом серебряной посуды и лакеев в парадных ливреях и в белоснежных, облегающих икры гетрах. Ради него забота о меню занимает большое место в жизни

прекрасной Антонии, ради него подаются остро приправленные блюда, крепкие, выдержанные вина, которые, по правде сказать, сегодня не подняли настроения гостей.

Та же натянутость, та же чопорная сдержанность царит за десертом, как и во время закуски, лишь едва заметно покраснели щеки и носики женщин. Настоящий обед восковых кукол, официальный и торжественный. Торжественность вызвана прежде всего размерами парадной столовой, высотой потолков, большими промежутками между стульями, благодаря чему устраняется возможность какой-либо фамильярности. Ледяным, пронизывающим холодом, холодом погреба, веет за столом, несмотря на теплую июньскую ночь, дыхание которой проникает из сада сквозь полуоткрытые ставни и слегка надувает шелковые шторы. Обращаются друг к другу изредка, церемонно, едва шевеля губами, с неподвижно застывшей на устах улыбкой, и все, что здесь говорится, все это одна ложь, все банально и пошло, слова бесследно исчезают на белоснежной скатерти среди изысканного десерта. Фразы облекаются в личину, как и лица, и если бы кто-нибудь приподнял маску и дал заглянуть в свои сокровенные мысли, какой бы поднялся переполох в этом избранном обществе!

Великий князь с широким бледным лицом, обрамленным слишком черными бакенбардами, подрезанными кружочком, как газон на лужайке, - типичный портрет царствующей особы из иллюстрированного журнала, - с большим интересом спрашивает барона Юшенара о его последней работе, а сам думает:

”Боже! Как мне надоел этот ученый со своими первобытными хижинами! Насколько было бы приятнее смотреть балет “Рокселана”, когда танцует крошка Деа, - я без ума от нее. Автор “Рокселаны”, мне говорили, здесь, за столом, но это старый, противный и прескучный господин… Ах, эти ножки, эти пачки маленькой Деа!..”

Нунций, с умным лицом римского патриция, желтым, точно после разлития желчи, с длинным носом, тонким ртом и черными глазами, слушает, склонив голову набок, повествование об истории человеческого жилища и думает, глядя на свои блестящие, как раковинки, ногти:

”Утром я съел в нунциатуре чудеснейшее фрито-мисто, и теперь у меня болит под ложечкой… Джоакимо слишком сильно затянул мне пояс…

Хоть бы поскорее встать из-за стола!..”

Турецкий посланник, губастый, смуглолицый, обрюзгший господин с жирным затылком, в феске, надвинутой на глаза, наливает вина баронессе Юшенар, а сам думает:

”До чего гнусны эти европейцы! Как можно приводить своих жен в общество в таком отталкивающем виде! Я бы скорее согласился сесть на кол, чем позволил кому-нибудь подумать, что эта толстая дама лежала со мной в постели!”

А под жеманной улыбкой баронессы, которая рассыпается в благодарностях его превосходительству, можно прочесть:

”Этот турок гадок донельзя, противно смотреть на него”.

То, что говорит вслух г-жа Астье, тоже не имеет ничего общего с занимающими ее мыслями:

”Только бы Поль не забыл заехать за дедом!.. Какое впечатление произведет маститый старец, опирающийся на руку правнука!.. Ах, если можно было бы выудить заказ у его высочества!..”

Потом, нежно взглянув на герцогиню:

”Она очень хороша сегодня… Верно, получила добрые вести о назначении ее князя… Радуйся напоследок, душенька! Через месяц Сами будет женат…”

Госпожа Астье не ошиблась. Великий князь, прибыв к своему “очаровательнейшему другу”, сообщил герцогине о полученном в Елисейском дворце обещании относительно назначения д’Атиса - это вопрос нескольких дней. Герцогиня с трудом сдерживает радостное волнение, от которого она вся так и светится и которое придает необычайный блеск ее красоте. Вот что она сделала для любимого человека, чего он достиг благодаря ей!.. И герцогиня уже рисует себе, как она устроится в Петербурге и снимет особняк на Невском проспекте, недалеко от посольства. В то время как герцогиня увлеклась этими мыслями, князь, мертвенно-бледный, с помятым лицом, устремляет куда-то неподвижный взгляд - тот испытующий взгляд, которого не мог

выдержать Бисмарк, - его презрительно сжатые губы кривятся загадочной и снисходительной улыбкой, подобающей дипломату и академику; он думает:

”Теперь нужно, чтобы Колетта решилась… Она приедет туда, мы обвенчаемся без помпы в капелле Пажеского корпуса, и когда об этом узнает герцогиня, все уже будет кончено”.

В голове каждого гостя, сидящего за столом, бродит множество мыслей, неуместных, забавных и бессвязных, прикрытых все тем же светским лоском. Леонар Астье утопает в блаженстве: он получил сегодня утром орден Станислава второй степени (*19) в благодарность за преподнесенный великому князю экземпляр своей речи, к первой странице которой было подколото собственноручное письмо Екатерины II; текст его он чрезвычайно ловко вставил в приветствие именитому гостю по случаю его прибытия. Этим письмом, снискавшим высокую оценку всего собрания, газеты были заняты в течение двух дней; оно прогремело по всей Европе, прославляя имя Астье, его коллекцию, его труды с тем оглушительным и несоразмерным резонансом, который многочисленные органы печати создают всем современным событиям. Пусть барон Юшенар теперь попробует подкапываться, жалить и елейным голосом бормотать: “Обращаю ваше внимание, мой дорогой собрат…” Никто уже не станет слушать его. И как ясно это сознает знаменитый собиратель автографов, каким злобным взглядом окидывает он “любезного коллегу” между двумя фразами своей научно-шарлатанской болтовни, сколько яда в каждой морщине его длинного перекошенного лица, ноздреватого, словно пемза!

Красавец Данжу тоже взбешен, но по другой причине: герцогиня не пригласила его жену. Такое невнимание задевает его супружеское самолюбие - эту вторую печень, более чувствительную, чем настоящая. И, несмотря на желание блеснуть перед великим князем, весь запас острот, специально приготовленных и почти не бывших в обращении, застревает у него в горле. Еще один гость тоже не в своей тарелке - это химик Дельпеш; когда его представляли великому князю, тот очень лестно отозвался о трудах, посвященных клинообразным письменам, смешав химика с его однофамильцем из Академии надписей. Нужно сказать, что, кроме как о Данжу, комедии которого пользуются известностью и за границей, великий князь ничего не слышал о знаменитых академиках, присутствующих на обеде. Лаво еще утром вместе с адъютантом князя сочинил памятку, в

которой значились имя каждого гостя и перечень его главных трудов. То, что его высочество сбился только раз в целом ряде произнесенных им сегодня любезностей, служит доказательством его находчивости и чисто княжеской памяти. Притом вечер еще не кончился, другие академические светила скоро должны сюда прибыть - уже у подъезда слышен грохот колес подъезжающих карет и стук захлопывающихся дверец, - и его высочеству еще представится случай загладить свою неловкость.

А пока что великий князь, невнятно растягивая и подыскивая слова, произнося их по большей части в нос, так что добрая половина вообще теряется, обсуждает с Астье-Рею один исторический факт в связи с письмом Екатерины II. Уже давно кувшины с водой для омовения рук обнесены вокруг стола, никто больше не ест и не пьет, никто и не дышит из боязни помешать беседе, весь стол загипнотизирован, он словно приподнялся, как на спиритическом сеансе, присутствующие буквально прикованы к движению княжеских губ. Внезапно августейшее гнусавое бормотание прекращается, и Леонар Астье, споривший только для вида, чтобы сделать еще более блестящей победу своего противника, опускает руки, точно сломанное оружие, и говорит тоном глубокого убеждения:

- Вы меня посрамили, ваше высочество.

Чары рассеялись, стол снова стоит на своих ножках, все поднимаются среди слитного гула восхищения, двери распахиваются, герцогиня берет под руку великого князя, Мурад-бей - баронессу. Шуршат юбки, стучат отодвигаемые стулья, гости один за другим переходят в гостиные, а дворецкий Фирмен, с важным видом задрав голову, прикидывает в уме:

”На таком обеде во всяком другом доме я нажил бы, по крайней мере, тысячу франков… Ну, а тут держи карман… Хоть бы триста франков-то набралось”.

А затем уже громко, точно плевок на шлейф надменной герцогини, бросает ей вслед:

- У-у, выжига!..

- Позвольте вам представить, ваше высочество: мой дед, Жан Рею, старейший член пяти академий.

Пронзительный голос г-жи Астье звенит в больших гостиных, залитых светом, почти пустых, куда уже начали собираться друзья, приглашенные на этот вечер. Она кричит громко, чтобы дедушка понял, кому его представляют, и ответил что-нибудь соответствующее обстоятельствам. Старый Рею на вид хоть куда - он выпрямляется во весь свой огромный рост, высоко поднимает головку Креола, потемневшую от возраста, всю в морщинах. Маститый старец опирается на руку Поля Астье, элегантного и очаровательного, по другую сторону стоит его внучка, позади - Астье-Рею. Семейство сгруппировалось таким образом, образуя сентиментальную сцену в духе Греза (*20), гармонирующую со светлой обивкой стен гостиной, которым Жан Рею приходится чуть ли не ровесником. Великий князь растроган, пытается сказать что-нибудь подобающее случаю, но автор “Писем к Урании” не фигурирует в памятке, составленной Лаво. Его высочество выходит из затруднения, отделываясь общими фразами, на которые старик Рею, думая, что его, как обычно, спрашивают относительно возраста, отвечает?

- Девяносто восемь лет исполнится через две недели, ваше высочество…

Потом столь же невпопад добавляет:

- Я не был там, ваше высочество, с восемьсот третьего года, город, наверное, очень изменился…

Во время этого своеобразного диалога Поль шепчет матери:

- Сама уж его отвези… А я слуга покорный… Он зол, как черт… Всю дорогу в карете лягался, чтобы успокоить себе нервы, как он говорил.

Голос молодого человека звучит раздраженно и резко, лицо, обычно приветливое, хмурится, искажается гримасой. Мать прекрасно знает это выражение, она сразу заметила его, как только вошла в комнату. Что случилось? Она следит за сыном, пытается что-нибудь прочесть в его светлых глазах, но они избегают ее, остаются непроницаемыми, только взгляд их становится еще более колючим и жестким.

А холод, царивший за обедом, этот торжественный холод не рассеивается, - им веет среди приглашенных, собравшихся группами. Женщины, здесь весьма малочисленные, уселись кружком в низких креслах, мужчины стоят или расхаживают по гостиным, делая вид, что

заняты содержательной беседой, а на самом деле заботясь только о том, чтобы привлечь к себе внимание его высочества. Ради князя композитор Ландри мечтает у камина, закинув голову с гениальным лбом и бородою апостола. Ради него же в другом углу погружен в раздумье ученый Дельпеш; он подпер рукой подбородок, нахмурил брови, вид у него озабоченный, словно он наблюдает за опытом со взрывчатым веществом.

Философу Ланибуару, знаменитому своим сходством с Паскалем, не сидится на месте: он бродит взад и вперед мимо дивана, где великого князя терзает Жан Рею. Философа забыли представить августейшему гостю, и он этим весьма огорчен, его длинный нос еще больше вытягивается, как бы молит на расстоянии: “Да посмотрите же! Разве это не нос Паскаля?” К тому же самому дивану из-под едва разомкнутых век устремлены взоры г-жи Эвиза, которые обещают все, что только его высочеству будет угодно, когда и как ему будет угодно, только бы его высочество побывал у нее, почтил бы своим присутствием ее следующий понедельник. Сколько бы ни меняли декорации, пьеса остается та же: тщеславие, подлость, низкопоклонство, лакейская потребность холуйствовать и пресмыкаться. Пусть жалуют к нам высокие иноземные гости: в наших старых кладовых сохранилось все необходимое для их приема.

- Генерал!

- Чего изволите, ваше высочество?

- Я так и не попаду на балет…

- А зачем же мы тогда здесь, ваше высочество?

- Право, не знаю… Готовится какой-то сюрприз… Ждут только, чтобы нунций уехал…

Они чуть слышно произносят слова, едва шевеля губами, не глядя друг на друга, ни один мускул не дрогнул на их напряженных лицах. Адъютант рядом со своим властелином, которому он старательно подражает, так же гнусавя и лишь изредка жестикулируя, сидит неподвижно на краешке дивана, округло положив руку на бедро, окаменев, словно на параде или у барьера императорской ложи в Михайловском театре (*21). Старик Рею стоит перед ними и ни за что не соглашается сесть, не соглашается перестать говорить, перестать ворошить покрытые пылью воспоминания

своей столетней жизни. Он знавал стольких людей, следовал стольким модам! И чем отдаленнее событие, тем лучше он его помнит. “Я сам это видел”. Он останавливается на минуту, окончив очередной рассказ, и устремляет глаза вдаль, к исчезающему прошлому, потом приступает к следующей истории. То он у Тальма в Брюнуа, то в будуаре Жозефины, заставленном музыкальными шкатулками и клетками со сверкающими колибри, которые щебечут и хлопают крыльями. Вот он завтракает с г-жой Тальен (*22) на Вавилонской улице. Ее чудесные обнаженные бедра своими очертаниями похожи на лиру, длинная кашемировая ткань ниспадает с них и ложится у ее ног, стоящих на котурнах, плечи прикрыты вьющимися распущенными волосами. Он сам видел это полное матово-бледное тело испанки, вскормленное на миндальном пирожном, и при этом воспоминании загораются его маленькие, глубоко запавшие глазки без ресниц.

А на террасе, в теплом сумраке сада, беседа ведется вполголоса. Приглушенный смех звучит в темноте, полукругом сверкают красные огоньки сигар.

Лаво, чтобы позабавить Данжу и Поля Астье, расспрашивает молодого итальянца о случае с кардинальской шапкой и скуфьей.

- Его высокопреосвященство говорит мне: “Пепино!..”

- Но дама, граф, та дама, там, на вокзале?..

- Cristo, как она была хороша! - глухим голосом произносит итальянец.

И тут же, словно желая исправить впечатление от плотоядного признания, он добавляет елейным голосом:

- И simpatica [симпатична (итал.)], главное, simpatica…

Все парижанки кажутся ему красивыми и симпатичными. Ах, если бы ему не нужно было возвращаться на службу!.. Разгорячившись от выпитых французских вин, граф рассказывает, как живется папским гвардейцам, о прелестях этой службы, о надеждах, которые питают все туда поступающие, на выгодную женитьбу, на возможность прельстить во время одной из папских аудиенций богатую англичанку-католичку или фанатичную испанку, прибывшую из Южной Америки с приношениями

Ватикану.

- Мундир у нас красивый, понимаете? Да и бедствия святого отца (*23) придают нам, его солдатам, романтическое, рыцарское обаяние, что обычно нравится дамам.

В самом деле, своим молодым мужественным лицом, золотыми нашивками, тускло мерцающими при свете луны, белыми кожаными лосинами в обтяжку юный граф напоминает героев Ариосто или Торквато Тассо.

- Но, милый Пепино, - говорит толстяк Лаво деланно ворчливым тоном, - зачем далеко ходить, когда выгодное дело у вас здесь, под руками?

- Come? [Как? (итал.)] Как это под руками?..

Поль Астье вздрогнул и насторожился. Как только речь заходит о богатой невесте, ему представляется, что посягают на ту, которую он себе наметил.

- Да герцогиня же, черт возьми!.. Старый Падовани долго не протянет…

- Н-но… князь д’Атис?

- Он на ней никогда не женится…

Лаво можно поверить: он приятель князя, правда, и герцогини, но в предвидении будущего разрыва он становится на ту сторону, которая кажется ему более прочной.

- Действуйте смело, любезный граф!.. Денег здесь много, очень много… И связи… Да и женщина еще не совсем состарилась…

- Cristo, как хороша… - вздыхает граф.

- И симпатична, главное, симпатична, - ухмыляется Данжу.

Папский гвардеец как будто слегка озадачен, но тут же, обрадовавшись, что сходится во взглядах с умным академиком, добавляет:

- Да, да, симпатична!.. Верно, я это и хотел сказать…

- А затем, - продолжает Лаво, - если вы любите краску для волос, накладные локоны, бандажи, набрюшники, то будете вполне удовлетворены… Рассказывают, будто она крепко затянута, что она носит под платьем настоящий панцирь из кожи и железа… Лучшая заказчица Шарьера…

Он говорит громко, без всякого стеснения, сидя напротив столовой. Свет, падающий сквозь полуоткрытую дверь на террасу, освещает его скуластое багрово-красное циничное лицо вольноотпущенника, паразита. В эту дверь еще доносится запах горячих трюфелей, рагу из жареной дичи, всего того роскошного обеда, которым он только что насладился и сейчас отрыгивает подлой и низкой клеветой. Вот тебе твои фаршированные трюфели, рябчики, вина по двадцать франков бокал! Вдвоем, наперебой с Данжу, они так и сыплют грязными сплетнями, столь принятыми в обществе. И чего они только не знают, о чем только не рассказывают! Лаво швыряет какую-нибудь гнусность, Данжу подхватывает ее на лету, а юный папский гвардеец, не зная хорошенько, чему следует верить, стараясь смеяться, с замиранием сердца думает о том, что герцогиня может застать их врасплох. Он чувствует настоящее облегчение, когда с другого конца террасы раздается голос дяди, который зовет его:

- Пепино! Идем!..

Нунций привык рано ложиться и заставляет своего племянника благонравным поведением искупить злоключение с кардинальской шапкой.

- Спокойной ночи, господа!

- Желаем удачи, молодой человек!

Нунций отбыл. Скорей же сюрприз! По знаку герцогини автор “Рокселаны” садится за рояль и, проводя бородой по клавиатуре, берет два сочных аккорда. И тотчас же там, в глубине, раздвигаются высокие портьеры, и по анфиладе сверкающих огнями гостиных на носках пробегает прелестная брюнетка в балетном трико, пышной юбочке и золоченых туфельках, которую ведет, держа за кончики пальцев, мрачный субъект с завитыми волосами и хмурым лицом, пересеченным длинными

усами, словно выточенными из потемневшего дерева. Это Деа, волшебница Деа, модная сейчас игрушка, а с ней ее учитель Валер, танцмейстер Большой оперы. Сегодня вечером представление в театре начали с “Рокселаны”, и, разгоряченная успехом сарабанды, малютка будет сейчас танцевать ее вторично для августейшего гостя герцогини.

Более приятного сюрприза нельзя было и придумать. Видеть перед собой, почти у самого лица, этот очаровательный тюлевый вихрь, проносящийся ради него, слышать порывистое, молодое, свежее дыхание, чувствовать, как напрягаются все нервы этого восхитительного существа, как они дрожат и трепещут, точно снасти парусника… Какое наслаждение! И не один великий князь упивается им. После первых пируэтов мужчины приблизились и бесцеремонно тесным кольцом черных фраков окружили прелестное видение, так что немногочисленные здесь дамы, очутясь за этим кольцом, принуждены смотреть издали. Великого князя затерли в толпе, его толкают. По мере того как ускоряется темп сарабанды, круг сжимается настолько, что мешает движению танца. Наклонившись вперед, тяжело дыша, вытянув шеи, академики и дипломаты, украшенные звездами и орденами, болтающимися у них, как колокольчики, осклабились от восторга; влажные губы в плотоядной улыбке раздвинулись, обнажив беззубые челюсти, вырываются смешки, напоминающие конское ржание. Даже презрительный профиль князя д’Атиса становится более человечным перед этим чудом юности и грации, которое своими пуантами срывает все светские маски. И турок Мурад-бей, за весь вечер не проронивший ни слова, развалясь в кресле в первом ряду, размахивает руками, раздувает ноздри, закатывает глаза и издает гортанные звуки, точно обезумевший и перешедший всякие границы Карагез (*24). Под восторженные восклицания и бешеные крики “браво” малютка кружится, порхает, так гармонично скрывая напряжение мускулов всего тела, что танец кажется шуткой, развлечением стрекозы. Только капельки пота, выступившие на нежной и полной шейке, да улыбка одними уголками рта, колючая, своевольная, почти злая, выдают напряжение и усталость очаровательного зверька.

Поль Астье не любил балета, поэтому он остался курить на террасе. Аплодисменты, нежные аккорды рояля доносятся до него издалека, словно составляя аккомпанемент его глубокому раздумью. Мало-помалу он начинает разбираться в своих сокровенных мыслях, подобно тому как глаза его, свыкаясь с темнотой, все яснее различают высокие стволы деревьев, их

трепещущую листву, тонкую и частую решетку на фронтоне дома в античном вкусе, примыкающего к стене в глубине сада… Трудно добиться успеха, много нужно усилий, чтобы достигнуть цели, кажется, вот она уже в руках, а между тем ускользает все дальше, все выше… Колетта! Ведь она как будто уже готова упасть в его объятия, а при новом свидании хоть начинай все с начала, сызнова веди атаку, - можно подумать, что в его отсутствие кто-то нарочно разрушает всю его постройку. Кто же?.. Покойник! Черт возьми! Этот гнусный покойник… Надо быть при ней с утра до ночи, а разве это возможно? Жизнь тяжела, столько забот, вечная погоня за деньгами!

Слышатся легкие шаги, шуршание тяжелого бархатного платья: мать ищет его и беспокоится. Отчего он не идет в залу, где теперь собрались все? Она облокотилась на перила возле него, хочет знать, что его тревожит.

- Да ничего… ничего!..

Но она настаивает, расспрашивает. Ну так вот… так вот… Ему надоела жизнь впроголодь. Постоянные векселя, протесты… Заткнешь одну дыру, рядом другая… Нет, хватит с него, нет больше сил!..

Из залы доносятся громкие крики, раскаты смеха и бесцветный голос танцмейстера Валера, который вместе с Деа исполняет пародию на старинный балет: “Один батман, два батмана… Амур замышляет шалость…”

- Сколько тебе нужно? - шепчет, вся дрожа, мать. Никогда еще не видала она его в таком состоянии.

- Не стоит говорить… Все равно ты не сможешь… Слишком большая сумма.

Она настаивает:

- Сколько?

- Двадцать тысяч!.. Завтра же внести судебному приставу не позднее пяти часов, иначе опись и продажа имущества, куча всяких пакостей. Нет, лучше, чем такой срам… - Он в бешенстве кусает сигару. - Лучше пустить себе пулю в лоб.

Большего и не требовалось.

- Молчи, молчи!.. Завтра, не позднее пяти…

Горячие дрожащие руки зажимают ему рот, чтобы вдавить, вогнать туда страшные слова о смерти.

6

Всю ночь она не сомкнула глаз, в голове неотступно вертелась цифра - двадцать тысяч франков. Двадцать тысяч франков! Где их достать? К кому обратиться? И в такой короткий срок! Имена, лица проносились вихрем, пробегали по потолку в голубоватом свете ночника и спустя мгновение исчезали, уступая место другим именам, другим лицам, которые пропадали с такой же быстротой. Фрейде? Она только что воспользовалась его услугами… Д'Атис? До женитьбы он сам без гроша… Да к тому же разве можно занять двадцать тысяч франков, разве кто-нибудь одолжит такую сумму? Надо было напасть на этого поэта-провинциала… В Париже, в "обществе", деньги имеют сокровенный смысл. Предполагается, что их имеешь и живешь, как в благородных комедиях, на высоте, недоступной таким мелочам. Нарушить эти условности - значит самому исключить себя из хорошего круга.

Меж тем как г-жа Астье изнывала в лихорадочной тревоге от этих мыслей, рядом с ней невозмутимо покоилась широкая спина ее мужа, вздымаемая ровным дыханием. Одной из скорбных сторон их совместной жизни была эта мещанская двуспальная кровать, которую они делили вот уже тридцать лет, не имея ничего общего, кроме простынь. Но никогда еще равнодушие ее угрюмого сожителя так не возмущало, не выводило ее из себя. Разбудить его? Что толку? Заговорить с ним о сыне, доведенном до отчаяния, о его угрозе? Она прекрасно знала, что муж ей не поверит, что он даже не повернет своей огромной спины, за которой он укрывается, точно за заслоном. У нее явилось желание накинуться с кулаками на мужа, осыпать его ударами, вцепиться в него ногтями, кричать во весь голос, чтобы прервать этот тяжелый эгоистический сон. "Леонар! Архивы горят!" Эта мысль об архивах, блеснувшая, как молния, в мозгу, чуть было не заставила ее вскочить с постели. Найдены двадцать тысяч франков! Там, наверху, в шкафчике для дел… И как это ей раньше не приходило в голову?.. До рассвета, до последней вспышки ночника она спокойно обдумывала свой план, лежа неподвижно, с широко раскрытыми глазами, глядя так, как глядят воровки.

Оделась она рано и все утро блуждала по комнатам, следя за мужем,

который должен был уйти, но, передумав, до самого завтрака занимался разборкой документов. Леонар ходил из кабинета на антресоли и обратно, перетаскивал охапки бумаг, бодро напевал что-то себе под нос; он был слишком толстокож, чтобы заметить накаленную атмосферу, царившую в их тесной квартире и передававшуюся, словно электрическим током, даже мебели, даже дверным створкам и ручкам. Молчавший во время работы, он разболтался за столом, рассказывал какие-то идиотские истории, которые она уже знала наизусть, столь же нескончаемые, как нескончаемо было крошение кончиком ножа неизменно подаваемого ему за десертом овернского сыра. Он все подкладывал и подкладывал себе сыру, сыпал все новыми анекдотами. Как невыносимо он мешкал, прежде чем отправиться в Академию на заседание, которому сегодня должно было предшествовать собрание комиссии по составлению словаря! Сколько времени возился он со всякой мелочью, словно назло жене, не знавшей, как бы поскорее вытолкать его за дверь!

Но только он завернул за угол Бонской, она, не прикрыв даже окна, подбежала к форточке на кухню и крикнула Корантине:

- Бегите за фиакром!

Оставшись наконец одна, г-жа Астье бросилась по лестнице в архив.

Нагибаясь из-за низкого потолка, г-жа Астье подбирала из связки ключ к замку, запиравшему поперечники шкафчика, но дело не ладилось, время уходило, и она уже, не колеблясь, решила сломать один из косяков. Но руки у нее дрожали, она ломала ногти. Нужен напильник или что-нибудь в этом роде. Она выдвинула ящик ломберного стола, и ее глазам представились три письма Карла V, которые она искала, неразборчиво написанные, пожелтевшие. Бывают же такие чудеса!.. Она поднесла их к низкому окну и убедилась, что не ошиблась. “Франсуа Рабле, прославленному в науках и словесности…” Она не стала читать дальше, выпрямилась, сильно ударилась головой, но почувствовала боль только сидя в фиакре, который уносил ее на улицу Аббатства к Босу.

Она сошла в самом начале этой улицы, короткой и тихой, приютившейся под сенью Сен-Жерменского аббатства и старинного кирпичного здания Хирургического института, возле которого стояли экипажи профессоров с лакеями в богатых ливреях. Прохожих здесь было мало. Голуби, мирно

клевавшие зерно у самого тротуара, разлетелись при ее приближении к магазину, полукнижному, полуантикварному, находящемуся как раз напротив института, под архаической вывеской, очень подходящей к этому уголку старого Парижа: “БОС, АРХИВАРИУС-ПАЛЕОГРАФ”.

- И чего только не было здесь на витрине: старые рукописи, приходно-расходные книги с изъеденными плесенью краями, старинные требники с потускневшей позолотой, застежки для книг, суперобложки, наклеенные на больших стеклах, ассигнации, старые афиши, планы Парижа, уличные песенки, военные почтовые бланки, закапанные кровью, автографы всех эпох, стихотворение г-жи Лафарж (*25), два письма Шатобриана сапожнику Пертузе, приглашения на обед за подписью современных или прежних знаменитостей, просьбы ссудить денег, скорбные признания и объяснения в любви, способные внушить ужас и отвращение к переписке. На всех этих автографах была обозначена цена, и г-жа Астье, задержавшись на минуту у витрины, увидела рядом с письмом Рашели, оцененным в триста франков, записку Леонара Астье своему издателю Пти-Секару с пометкой: два с половиной франка. Но не это искала она за зеленой ширмой, скрывавшей внутреннюю часть магазина, а самого архивариуса-палеографа, человека, с которым ей придется иметь дело. Страх овладел ею в последнюю минуту; только бы застать его!

Мысль, что Поль ждет, заставила ее наконец войти в пыльную и затхлую лавку, и, как только ее провели в заднюю комнату, она принялась объяснять г-ну Босу, краснорожему всклокоченному толстяку, их временные денежные затруднения и сказала, что муж не мог решиться лично приехать. Бос не дал ей окончить эту заранее придуманную ложь:

- Помилуйте, сударыня!

Он сразу же вручил ей чек на Лионский кредит и с почтительными расшаркиваниями и поклонами проводил ее до фиакра.

”Приятная дама!” - довольный своей покупкой, решил Бос.

А она, развертывая чек, засунутый в перчатку, глядя на указанную на нем необходимую ей сумму, подумала: “Какой любезный человек!”

И никаких угрызений совести, даже легкого замирания сердца, которое обычно вызывается дурным поступком! Женщине незнакомы такие

чувства, ею всецело владеет желание данной минуты, на нее надеты природные шоры, мешающие видеть, что творится вокруг, и избавляющие ее от рассуждений, которые мужчине затрудняют любой решительный шаг. Правда, время от времени г-жа Астье представляла себе ярость мужа, когда он обнаружит кражу, но это казалось ей неясным, далеким; быть может, ей было даже отрадно добавить еще одно испытание ко всем мукам, пережитым со вчерашнего дня. “И это я перенесла ради сына!”

Под внешним спокойствием, под выдержкой супруги академика в ней таилось нечто свойственное каждой женщине - и светской львице, и простолюдинке: страсть. Муж не всегда находит педаль, приводящую в действие клавиатуру женской души, любовник порой тоже терпит неудачу, сын - никогда. В скорбной повести без любви, так часто являющейся уделом женщины, сын - всегда герой, ему отводится первая, главная роль. Только Полю, особенно с тех пор, как он возмужал, обязана она была тем, что испытала настоящие чувства, сладостную тоску ожидания, страхи и замирания сердца, жар в руках, тем, что у нее появилось сверхъестественное чутье, которое позволяет безошибочно сказать: “Вот он” - прежде, чем остановится экипаж, всем, что не было изведано ею прежде, ни в первые годы замужества, ни в те времена, когда светская молва обвиняла ее в легкомыслии, а Леонар простодушно говорил: “Странно!.. Я не курю, а вуалетки моей жены пахнут табаком…”

Смертельная тревога овладела ею у подъезда особняка на улице Фортюни, когда на ее первый звонок никто не откликнулся. Немой, наглухо закрытый, под высокой кровлей с цинковым коньком, маленький особняк в стиле Людовика XII, так восхищавший ее, вдруг показался ей зловещим. Не менее зловеще выглядел в доходный дом, построенный в том же стиле, в двух верхних этажах которого пестрели ярлыки “Сдается…”, “Сдается…”, наклеенные поперек высоких окон с переплетами. На второй звонок, дребезжащий и громкий, Стэн, надутый грум, в полном параде, затянутый в небесно-голубую ливрею, показался наконец на пороге и смущенно забормотал что-то невнятное:

- Барин дома… Но… но…

Несчастная мать, терзаемая со вчерашнего дня мыслью о катастрофе, представила себе сына, окровавленного, в предсмертной агонии, опрометью бросилась по коридору, перескочила три ступеньки и, едва

переводя дух, очутилась в мастерской.

Поль работал, стоя за чертежным столом в амбразуре огромного чудесного окна. Свет, падавший в отворенную створку, освещал начатый тушью рисунок, раскрытую коробку с акварельными красками, меж тем как глубина комнаты утопала в благоухающем, сладострастном полумраке. Поль был так погружен в свою работу, что, казалось, не слышал, как остановился экипаж, не слышал двух звонков и торопливого шелеста женского платья в коридоре. Не это жалкое, поношенное черное платье поджидал он, не ради него приготовил букеты нежных цветов на длинных стеблях - ирисов и тюльпанов, а на раздвижном столике - вазочку с конфетами и граненые графины.

Он обернулся, и его восклицание: “Ах, это ты!” - сразу было бы понято всякой другой женщиной, кроме матери.

Она не обратила внимания на его слова, счастливая тем, что он все такой же элегантный, красивый, живой и невредимый. Не говоря ни слова, она расстегнула перчатку и с торжествующим видом протянула ему чек. Он не спросил, откуда эти деньги, чего стоило ей раздобыть их, - он нежно прижал ее к своему сердцу, стараясь все же не помять бумагу.

- Мама, мамочка!..

И все. Она была вполне вознаграждена, хотя и почувствовала в нем вместо большой радости смущение.

- Куда ты едешь отсюда? - спросил он задумчиво, все еще держа в руке чек.

- Отсюда?

Она посмотрела на него недоуменно и печально. Ведь она только успела войти, она рассчитывала хоть немного побыть с ним, но в конце концов, если ее присутствие стесняет его…

- Куда я еду?.. К княгине… Но это не к спеху… Такая тоска с ней, вечный плач по Герберту… Уж кажется, она о нем позабыла, - нет, все начинается сызнова.

С его губ готовы были сорваться слова правды, однако он их не произнес.

- Окажи мне услугу, мамочка… Я тут жду кое-кого… Получи за меня деньги и выкупи у судебного пристава мои векселя… Согласна?

Как же не согласиться? Занимаясь его делами, она все время будет с ним. Пока он подписывал бумагу, мать окинула взглядом его покрытую коврами и вышивками мастерскую, где только старинный складной табурет орехового дерева, несколько древних отливок и образцы антаблементов, висевшие тут и там, обличали профессию хозяина. Вспоминая только что пережитый страх, окидывая взглядом цветы на длинных стеблях, вино и закуску, сервированную на столике у дивана, она невольно подумала, что это весьма странные приготовления к самоубийству. Она улыбнулась без малейшей досады: “Ах ты, очаровательный изверг!” - и только заметила, указывая зонтом на вазу с конфетами:

- Лучше пустить себе пулю… Как ты это сказал?

Он тоже рассмеялся.

- О, все изменилось со вчерашнего дня!.. Мое дело… Знаешь, то выгодное дело, о котором я тебе говорил?.. Ну, на этот раз, кажется, успех обеспечен…

- Вот как! И у меня тоже.

- Ах да, женитьба Сами…

Их красивые и одинаково лживые глаза стального цвета, слегка выцветшие у матери, на минуту встретились, словно стараясь что-то выведать друг у друга.

- Вот увидишь, мы еще будем несметно богаты, - произнес наконец Поль и, тихонько подталкивая мать к выходу, добавил: - Ну иди же!.. Иди!

Утром княгиня Розен запиской известила Поля, что заедет за ним, чтобы отправиться “туда”. “Туда” означало кладбище Пер-Лашез. В последнее время Герберт снова “вылез на сцену”, как говорила г-жа Астье. Два раза в неделю вдова ездила с цветами на кладбище, отвозила подсвечники и

скамеечки для молитвы, торопила и наблюдала за ходом работ - новый прилив супружеской преданности… Долго длилась мучительная борьба между тщеславием и увлечением, соблазном остаться княгиней и чарами обворожительного Поля Астье, борьба тем более жестокая, что молодая женщина никому ее не поверяла, за исключением бедного Герберта, к которому каждый вечер она обращалась в своем дневнике, и только назначение Сами заставило ее принять решение. Ей казалось благопристойным, прежде чем выйти за второго мужа, окончательно похоронить первого и покончить с мавзолеем и опасной близостью с чересчур очаровательным архитектором.

Поль Астье забавлялся треволнениями этого мятущегося сердечка, не понимая их подлинной причины и видя в них добрый знак, высшее напряжение душевных сил перед великим решением; только все это затягивалось, а он спешил. Нужно ускорить развязку, воспользоваться посещением Колетты, давно обещанным и все откладываемым, словно княгиня, несмотря на желание познакомиться с мастерской молодого человека, боялась остаться с ним с глазу на глаз без присмотра своей челяди, всегда присутствовавшей при их свиданиях и в ее особняке, и в карете. Не то чтобы он разрешал себе какую-либо вольность; пленительный и чарующий - вот все, что можно было о нем сказать. Но она боялась самой себя, оправдывая тем самым мнение этого дерзкого молодого человека, который, как весьма искусный стратег в делах любви, с первого взгляда отнес Колетту к разряду “открытых городов”. Так определял он светских женщин, с виду защищенных и окруженных крепостной стеной, огражденных, как говорится, рекой и горами, якобы недосягаемых и неприступных, но которых на самом деле можно взять смелой атакой. На этот раз, однако, он не намеревался предпринимать решительный штурм, - несколько более смелых прикосновений, час или два настойчивого ухаживания, чтобы почувствовать женщину в своей власти, не оскорбляя ее, добиться окончательной отставки покойника, потом брак и тридцать миллионов. Вот те прерванные приходом г-жи Астье блаженные мечты, в которые он вновь погрузился, стоя у того же стола, в той же задумчивой позе, как вдруг по всему дому прозвенел резкий звонок. Длительные переговоры. Поль, потеряв терпение, открыл дверь.

- Что там такое?

Высокий выездной лакей в траурной ливрее, силуэт которого выделялся

на фоне мокрой от дождя улицы, стоя на пороге, отвечал ему с почтительной наглостью, что княгиня ожидает господина Астье в карете. У Поля хватило самообладания крикнуть сдавленным голосом:

- Иду.

Как он был взбешен! Какие только оскорбления не бормотал он по адресу покойника, память о котором, без сомнения, ее удержала! Но тут же мелькнувшая надежда на реванш, по всей вероятности, очень забавный, который не заставит себя долго ждать, вернула его лицу обычное выражение, и когда он спустился к княгине, то уже вполне владел собой, только от пережитого волнения щеки его слегка побледнели.

В карете, в которой окна пришлось поднять из-за внезапного ливня, было очень жарко. Огромные букеты фиалок, тяжелые венки, как большие круглые торты, громоздились на подушках вокруг княгини Розен, лежали на ее коленях.

- Может быть, цветы вам мешают… Хотите, я велю опустить окна? - спросила она с той лицемерной ласковостью, которая свойственна женщине, когда она сыграла с вами злую шутку и все-таки хочет сохранить дружеские отношения.

Поль ответил неопределенным, полным достоинства жестом. Опустить или поднять окна - ему решительно все равно. Румяная, в ореоле золотистых волос под длинной вдовьей вуалью, которую она надевала в дни посещения кладбища, княгиня чувствовала себя неловко, она предпочла бы упреки. Она была так жестока к этому молодому человеку, - увы, гораздо более жестока, чем он мог предполагать!.. Коснувшись руки Поля, она спросила:

- Вы на меня сердитесь?

Сердится? О, нет! За что он может на нее сердиться?

- За то, что я не поднялась к вам… Правда, я вам обещала, но в последнюю минуту… Я никак не думала, что так огорчу вас.

- Неизмеримо больше, чем вы полагаете.

Ох эти сдержанные светские люди! Когда у них вырывается чувствительное слово, какую цену оно приобретает для сердца женщины! Оно способно почти так же растрогать их, как вид плачущего офицера в мундире.

- Нет, нет, прошу вас! Только не расстраивайтесь из-за меня! Скажите, что вы больше не сердитесь…

Она говорила, совсем близко наклонившись к нему, не обращая внимания на падавшие с сиденья цветы, защищенная от всякой опасности двумя черными фигурами, восседавшими на козлах под большим зонтиком, в цилиндрах с траурными кокардами.

- Послушайте! Я обещаю вам приехать один раз, по крайней мере, один раз, прежде чем…

И тут она в ужасе остановилась. В искреннем порыве она чуть было не проговорилась об их близкой разлуке, о своем отъезде в Петербург. Спохватившись, она поклялась, что навестит его как-нибудь в послеобеденное время, когда не поедет “туда”.

- Но вы ежедневно туда ездите, - сказал он с такой комичной интонацией еле сдерживаемого бешенства, что улыбка мелькнула под вуалью вдовы, и, чтобы соблюсти приличие, она опустила окна.

Ливень прекратился. На бедной и веселой улице предместья, куда въехала карета, яркое, почти летнее солнце словно возвещало окончание всех бедствий; его лучи играли на товарах, выставленных в грязных лавчонках, на ручных тележках, расположившихся возле сточных канав, на разноцветных афишах и на лохмотьях, развевавшихся в окнах. Княгиня равнодушно смотрела на окружающее, - ведь ничто из повседневной жизни улицы не привлекает внимания людей, привыкших видеть ее только с подушек кареты, с высоты двух футов от земли. Мерное покачивание, зеркальные стекла создают особое представление о действительности у баловней судьбы, безучастных ко всему, что не лежит на уровне их взгляда.

”Как он меня любит, как он хорош собою!.. - думала г-жа розен. - У того, другого, конечно, более аристократический вид, но насколько с этим было бы приятнее! Увы! Жизнь, самая счастливая, - разрозненный сервиз,

полного комплекта не подберешь никогда”.

Они подъезжали к кладбищу. С двух сторон тянулись склады мраморщиков с выставленными напоказ белоснежными плитами, статуями и крестами вперемежку с золотистыми иммортелями, белым и черным стеклярусом надгробных венков и другими предметами, с помощью коих чтут память усопших.

- А как же Ведрин?.. Его статуя?.. На чем мы порешим? - внезапно спросил Поль тоном человека, который желает говорить только о деле.

- Видите ли… - начала Колетта и чуть ли не со слезами воскликнула: - Боже! Я опять вас огорчу.

- Меня?.. Чем же?

Накануне они ездили в последний раз осмотреть рыцаря перед тем, как его отправить в отливку. Уже при первом посещении на княгиню произвела дурное впечатление не столько скульптура Ведрина, на которую она едва взглянула, сколько эта странная мастерская, где росли деревья, где по стенам бегали ящерицы, мокрицы, все эти руины: обвалившиеся потолки, следы пожара и революции. После второй поездки бедняжка вернулась буквально больной. “Мерзость из мерзостей, моя милая”, - так выразила она в тот же вечер свое впечатление г-же Астье, но не решилась сказать об этом Полю, зная, что он приятель скульптора, а еще по той причине, что имя Ведрина принадлежало к трем-четырем именам художников, которых светское общество отметило наперекор своим вкусам и воспитанию и которыми оно безмерно восторгается неизвестно почему, из претензии на оригинальность. Эта бесформенная грубая статуя на могиле ее Герберта!.. Нет! Нет!.. Но вот предлог она никак не могла найти.

- Послушайте, господин Поль, но это между нами… Без сомнения, это чудесная вещь… одно из лучших произведений Ведрина… Но, согласитесь, от нее слишком веет печалью…

- Возможно. Но ведь это же для могилы…

- И потом, если говорить откровенно…

Она призналась с немалыми колебаниями, что этот голый человек на

походной кровати кажется ей, право, не совсем приличным. Могут подумать о сходстве.

- Нет, вы представьте себе: бедный Герберт, такой воспитанный, такой корректный… На что это похоже?..

- Если вдуматься, то пожалуй… - глубокомысленно ответил Поль.

Спокойно выкинув за борт своего друга, как выкидывают котенка, он добавил:

- В конце концов, если статуя вам не нравится, можно заменить ее другой или вовсе не ставить. Это будет еще эффектнее: пустая палатка, кровать раскинута - и никого…

Княгиня пришла в восторг при мысли, что больше не увидит этого голого урода.

- Как я рада!.. Какой вы милый!.. Теперь я могу вам признаться, что проплакала из-за этого всю ночь.

Карета, как обычно, остановилась у главных ворот. Выездной лакей, взяв венки, следовал на почтительном расстоянии за Колеттой и Полем, которые шли под знойным солнцем по дорожке, размягченной только что прошедшим дождем. Молодая женщина опиралась на руку своего спутника и время от времени, словно извиняясь, спрашивала: “Вам не тяжело?..” - на что он отрицательно качал головой, печально улыбаясь. На кладбище было мало народа. Садовник и сторож, попавшиеся им навстречу, почтительно поклонились княгине, частой посетительнице этих мест. Когда же княгиня и Поль миновали главную аллею, стало совсем безлюдно и тенисто, только птицы щебетали в листве, и пение их сливалось с визгом пилы и стуком металлических инструментов, обтесывающих камень и никогда не смолкающих на кладбище Пер-Лашез, словно это вечно строящийся город, который никогда не будет закончен.

Время от времени г-жа Розен подмечала сердитый взгляд своего спутника, обращенный на высокого лакея в долгополой ливрее, с траурной кокардой на цилиндре, их постоянного и мрачного провожатого. Желая

угодить Полю, она вдруг остановилась и приказала лакею:

- Подождите.

Княгиня взяла цветы и венки, отпустила слугу, и они остались совсем одни на змеившейся дорожке. Несмотря на это милое внимание, лицо Поля не прояснилось; ему пришлось надеть на свободную руку несколько венков из царских фиалок, иммортелей и персидской сирени, и его злоба на покойного все нарастала.

”Ты мне за это заплатишь!” - думал он в бешенстве.

Она же чувствовала себя необычайно счастливой под наплывом эгоистического ощущения здоровья и жизненной силы, которое иногда овладевает нами в местах вечного упокоения. Или, быть может, таково было действие жаркого дня, одуряюще пахнувших цветов, сливавших свое благоухание с еще более сильным ароматом тисовых кустов и самшита, с испарениями влажной земли, нагретой солнцем, а также с тем особым запахом, едким, приторным, навязчивым, хорошо ей знакомым, который сегодня не вызывал у нее тошноты, как обычно, а скорее пьянил ее.

Она вздрогнула от неожиданности. Молодой человек схватил ее маленькую ручку, покоившуюся на сгибе его локтя, у ручки недостало смелости вырваться, и он сдавил ее и прижал к себе так, словно прижимал не одну ручку, а все тело женщины. Он пытался разнять ее нежные пальцы, чтобы сплести их со своими, овладеть ими, но маленькая ручка сопротивлялась, сжималась в перчатке: “Нет, нет… Ни за что!”

Они продолжали идти рядом, молча, не глядя друг на друга, охваченные волнением, - ведь все относительно в страсти, сопротивление рождает желание. Наконец она отдалась, раскрылась, эта маленькая сжавшаяся ручка, и пальцы их сплелись, едва не порвав перчатку. Чудесный миг безоговорочного признания, полного обладания!.. Но в Колетте тотчас же проснулась гордость женщины. Ей захотелось прервать это тягостное молчание, доказать, что она остается безупречной, что все происходит где-то вне ее, неведомо для нее, и, не находя слов, она прочла вслух надгробную надпись на могиле, заросшей бурьяном:

”Огюста - 1847 год”.

- А он, задыхаясь, прошептал:

- Какая-нибудь романтическая история.

Над их головами пели скворцы и синицы, вдали не смолкал визг пил и стук непрерывной стройки.

Они дошли до двадцатого отделения, до той части кладбища, которая является как бы старым Парижем в Пер-Лашезе. Дорожки здесь суживаются, деревья становятся выше, могилы лепятся одна к другой, беспорядочно теснятся решетки, колонны, греческие храмы, пирамиды, бюсты, духи и ангелы с широко раскрытыми или сложенными крыльями. Среди этих могил, заурядных и причудливых, оригинальных и простых, вычурных, претенциозных и скромных, как и жизнь тех, которые здесь покоятся, одни были покрыты надгробной плитой, заново отделанной, уставленной цветами, статуэтками святых и другими предметами культа, окружены садиками, изящными и миниатюрными, как китайские садики, а на других плиты, заросшие бурьяном и высокой травой, позеленели от плесени, мха и потрескались. Но всюду бросались в глаза имена, известные всему Парижу, имена нотариусов, чиновников, видных коммерсантов, имена, выстроившиеся в ряд, словно на вывесках в торговых или старинных судейских кварталах. Нередко попадались и двойные фамилии - знак соединения двух семей, союза богатства и положения в свете, названия преуспевавших фирм, уже исчезнувших из справочника Боттена (*26), из банковских реестров, но сохранившихся на могильных склепах.

- Смотрите!.. Вот здесь лежит такой-то!.. - восклицала г-жа Розен с удивлением, чуть ли не с радостью, с какой она обычно приветствовала знакомых в Булонском лесу. - Марио!.. Уж не певец ли?.. - И все это только для того, чтобы сделать вид, будто она не замечает, что руки их тесно сплелись!

Неподалеку от них скрипнула дверца склепа, и показалась дебелая дама в трауре, круглолицая и румяная. Держа в руках лейку, она наводила на могиле порядок, прибирала в садике и в усыпальнице так спокойно, словно находилась где-нибудь на даче в окрестностях Марселя. Она взглянула поверх решетки и улыбнулась им приветливой и доброй улыбкой, выражавшей покорность судьбе и словно говорившей: “Любите друг друга, жизнь коротка, только любовь прекрасна”. Смутившись, они разняли руки,

и княгиня, внезапно освободясь от злых чар, прошла вперед, слегка сконфуженная, выбирая дорогу между могилами, чтобы поскорее добраться до мавзолея князя.

Мавзолей занимал на самом верху двадцатого отделения большую площадку, обсаженную травой и цветами, окруженную низкой тяжелой решеткой из кованого железа, похожей на решетку у гробницы Скалигеров в Вероне (*27). Общий вид памятника, согласно замыслу художника, был суровый: настоящий первобытный низкий шатер из грубого дубленого холста в больших, тяжелых складках; далматский гранит придавал ему красноватый оттенок. Три широкие ступеньки из такого же камня вели к входу, по бокам стояли на пьедесталах высокие погребальные треножники из черной, будто покрытой лаком, бронзы. Над входом герб князей де Розен в большой бронзовой виньетке красовался как щит доблестного, навек уснувшего рыцаря.

Войдя за ограду и всюду разложив венки - у пьедесталов, на слегка наклоненных тумбах, изображавших длинные шесты у цоколя шатра, - княгиня опустилась на колени у алтаря, в самой глубине склепа, где блестела серебряная бахрома на молитвенных скамеечках, тусклая позолота готического креста и массивных канделябров. Хорошо здесь было молиться в прохладе, исходившей от каменных плит и облицованных черным мрамором стен, на одной из которых сверкало имя князя Герберта со всеми его титулами, а на противоположной были высечены стихи из Екклезиаста и “Песни Песней”. Но княгиня не могла сосредоточиться, она машинально повторяла слова молитвы, суетные мысли отвлекали ее, и ей становилось стыдно. Молодая женщина поднималась с колен, то подходила к вазам для цветов, то отходила, чтобы судить о впечатлении, производимом саркофагом в виде кровати. Подушка из черной бронзы с серебряным вензелем уже лежала на ней - Колетта нашла, что это жесткое пустое ложе благородно и прекрасно. Тем не менее необходимо было посоветоваться с молодым архитектором, нетерпеливый звук шагов которого доносился из усыпанного гравием садика. Одобряя его деликатность, она все же решила позвать его, но в склепе вдруг стало темно. Дождь забарабанил по застекленному в виде трилистников куполу.

- Господин Поль… Господин Поль!

Он сидел неподвижно на краю одного из пьедесталов под проливным

дождем и сначала ответил молчаливым отказом.

- Войдите!

Он тихо, скороговоркой произнес:

- Не хочу… Вы его слишком сильно любите…

- Войдите же, войдите!..

Она потянула его за руку, но брызги дождя заставили их отступить до самого саркофага, и они прислонились к нему, стоя рядом и глядя на спускавшийся перед ними уступами, под нависшим, покрытым тучами небом, старый Париж смерти, точно низвергавший свои минареты, серые статуи и многочисленные камни, торчавшие, как дольмены, среди блестящей зелени. Ни единого звука не доносилось до них - ни щебета птиц, ни скрипа инструментов, только шумела вода да из-под навеса воздвигаемого памятника слышались монотонные голоса двух рабочих, жаловавшихся на свой тяжелый труд. Цветы благоухали в этой духоте, особенно ощутимой внутри помещения во время дождя, и неизменно к этому аромату примешивался тот, другой запах, от которого нельзя было избавиться. Княгиня подняла вуаль; она изнемогала, губы у нее пересохли, как там, в аллее. Неподвижные, безмолвные, они оба так слились с памятником, что какая-то птичка с красновато-ржавым оперением, подпрыгивая, приблизилась к ним, отряхнула свои перышки и поймала червяка между плитами.

- Это соловей, - чуть слышно прошептал Поль среди тишины, гнетущей и сладостной.

Она хотела спросить:

”Разве они еще поют в это время?”

Но тут он схватил ее, привлек к себе на колени, на край гранитного ложа, и, запрокинув ей голову, приник к ее полуоткрытым губам жадным, долгим поцелуем, на который она ему так же страстно ответила. “Ибо сильна, как смерть, любовь”, - гласил стих Суламифи, высеченный над ними на мраморной стене.

Вернувшись на улицу Курсель, где ждала ее г-жа Астье, княгиня долго плакала, припав к плечу своей подруги. Перейдя из объятий сына в объятия матери, не заслуживавшей большего доверия, чем сын, она разразилась потоком жалобных, бессвязных слов, прерываемых рыданиями:

- Ах, дорогая, как я несчастна!.. Если б вы знали!.. Если б вы только знали!..

Ее отчаяние было столь же велико, как и ее замешательство. Положение действительно было запутанное: формально обещав свою руку князю д’Атису, она только что связала себя с этим околдовавшим ее чародеем, которого она теперь проклинала от всей души. Но всего тяжелее была невозможность поверить свою слабость лучшей подруге: княгиня отлично понимала, что мать сейчас же станет на сторону сына против Сами, на сторону чувства против разума и, быть может, уговорит ее согласиться на этот неравный брак, на это немыслимое унижение.

- Да что с вами?.. Что с вами?.. - повторяла г-жа Астье, потрясенная этим взрывом отчаяния. - Наверно, опять с кладбища, опять зря расстроились. Перестаньте же, бедная моя Артемисия… (*28)

Зная тщеславие молодой вдовы, она высмеяла эти бесконечные проявления горя, недопустимые в глазах света и, во всяком случае, опасные для ее хорошенького личика. Если бы еще речь шла о новом браке по любви, но ведь ее замужество с Сами - скорее союз двух знатных родов, двух титулов… Сам Герберт, если бы он мог это видеть с неба, остался бы доволен.

- Вы правы, он все понимал, - вздохнула Колетта де Розен, урожденная Совадон, которой представлялось весьма заманчивым стать посланницей и в особенности сохранить титул княгини.

- Хотите, милочка, послушаться доброго совета? Уезжайте отсюда, бегите… Сами отправится через неделю… Не дожидайтесь его, возьмите Лаво, он знает Петербург и устроит вас на первых порах… Это избавит вас от тягостной сцены с герцогиней. От корсиканцев всего можно ожидать…

- Уехать? Да… может быть…

Княгиня Розен видела в отъезде прежде всего возможность спастись от

новых безумств… Уйти от того, что случилось “там”, от минутного заблуждения.

- А что до памятника… - добавила г-жа Астье, по-своему толкуя нерешительность Колетты. - Вас беспокоит памятник? Поль закончит его без вас… Довольно плакать, душенька! Поливка вам к лицу, но в конце концов можно ведь и плесенью покрыться.

Уйдя с наступлением сумерек и направляясь к стоянке рульского омнибуса, почтенная дама вздыхала:

”Уф!.. Д’Атис и представить себе не может, каких трудов мне стоит его брак!”

Крайняя усталость и потребность в отдыхе после сегодняшних хлопот напомнили ей, что самое трудное еще впереди. Приезд домой, сцена с мужем… До сих пор г-жа Астье не имела времени даже подумать об этом, но теперь она двигалась навстречу тяжкому испытанию, приближалась к нему с каждым оборотом колес неуклюжего омнибуса. Она заранее содрогалась - не от страха, нет, но эти крики, бешенство мужа, его зычный грубый голос, необходимость отвечать и, наконец, сундук, сундук, который снова появится на сцену! Боже, какая мука! Она так устала за ночь и за день! Ах, если бы можно было все это отложить до завтра!.. И у нее явилось искушение: вместо того чтобы сразу признаться! “Это я…” - отвести на кого-нибудь подозрение, к примеру, на Тейседра, хотя бы до утра, тогда, по крайней мере, ночь она проведет спокойно.

- А вот и барыня… У нас новости! - крикнула Корантина, отворяя двери; она была сама не своя, рябины еще резче выступали у нее на лице, как это с ней всегда бывало от волнения.

Госпожа Астье хотела пройти к себе в комнату, но дверь кабинета приоткрылась и повелительный окрик: “Аделаида!” - заставил ее направиться к мужу.

- Лицо Леонара, освещенное лампой под стеклянным колпаком, показалось ей необычным. Он взял ее за руки, подвел к свету, дрожащим голосом произнес:

- Луазильон умер…

И поцеловал ее в обе щеки.

Он еще ничего не знал, он не поднимался к себе в архив. Два часа ходил он по кабинету, поджидая ее с нетерпением, чтобы сообщить ей эту столь важную для них новость, чтобы сказать эти два слова, в корне менявшие их жизнь:

- Луазильон умер!

7

”М-ль Жермен де Фрейде. Кло-Жалланж.

Твои письма огорчают меня, дорогая сестра! Ты тоскуешь, страдаешь, ты хотела бы, чтоб я был с тобой, но ничего не поделаешь! Вспомни совет моего учителя: “Бывать всюду, напоминать о себе…” Посуди сама: разве, сидя в Кло-Жалланже, в охотничьей куртке и кожаных гетрах, я смогу содействовать успеху своей кандидатуры? А ведь решительная минута близка, Луазильон дышит на ладан, и я пользуюсь длительностью этой агонии, чтобы заручиться в Академии симпатиями, которые должны превратиться в избирательные голоса. Леонар Астье уже представил меня Некоторым из этих господ. Я часто захожу за ним к концу заседаний. Выход из Академии просто великолепен: эти мужи, увенчанные и годами и славой, расходятся под руку по три, по четыре человека, оживленные, сияющие, громко разговаривают, занимают весь тротуар, глаза у них еще влажные от смеха, вызванного веселыми шутками в зале заседаний.

”До чего остроумен этот Пайерон!”, “А как ему ответил Данжу!..”

Я шествую под руку с Астье-Рею среди хора Бессмертных, как будто принадлежу уже к их числу. Постепенно группы тают, академики расстаются у моста, кричат друг другу: “До четверга! Непременно приходите…” А я провожаю дорогого мэтра до Бонской, и он ободряет меня, дает советы и, уверенный в моем успехе, говорит, расплываясь в улыбке: “Когда там побываешь, чувствуешь, что помолодел на двадцать лет”.

В самом деле, кажется, что годы проходят для них бесследно под куполом дворца Мазарини. Где еще найти такого бодрого старца, как Жан Рею, девяностовосьмилетие которого мы вчера вечером отпраздновали у Вуазена? (*29) Торжество было организовано по предложению Лаво, и если эта затея и обошлась мне в пятьдесят луидоров, зато она позволила подсчитать число моих сторонников. Нас было двадцать пять человек за

столом, все академики, за исключением Пишераля, Лаво и меня. Из них я могу твердо рассчитывать на семнадцать - восемнадцать голосов, остальные еще колеблются, но, видимо, расположены в мою пользу. Обед был отличный и прошел очень оживленно…

Ах да, кстати! Я пригласил Лаво в Кло-Жалланж на время каникул в Академии, где он занимает должность библиотекаря. Мы поместим его в большой угловой комнате, которая выходит на фазаний двор. Я не считаю Лаво хорошим человеком, но пригласить его следует: это “зебра” герцогини. Не знаю, писал ли я тебе, что наши светские дамы так называют холостого друга, ничем не занятого, неболтливого и исполнительного, всегда готового к услугам, способного выполнить любое щекотливое поручение, которое не доверишь слуге. Являясь чем-то вроде дипломатического курьера, “зебра”, если он молод, исполняет порой и более приятные обязанности, обычно же это животное воздержанное, неприхотливое, оно довольствуется незначительными знаками благосклонности: местом в конце стола, возможностью поважничать за счет своей дамы и ее салона. Думаю, однако, что Лаво сумел извлечь из этого положения и нечто другое. Он очень ловкий человек, и его побаиваются, несмотря на его кажущееся добродушие: это “старший поваренок в двух кухнях”, как он сам себя называет, - в академической и дипломатической. Он предостерег меня от рытвин и капканов, которыми усеян путь в Академию, до сих пор неведомых моему учителю Астье. Этот большой наивный ребенок поднимался вверх по прямой дороге, не подозревая об опасностях, не сводя глаз с купола, веря в свою силу и в свои книги, но он уже сто раз свернул бы себе шею, если бы не его жена, женщина крайне ловкая, руководившая им без его ведома.

Лаво мне тоже отсоветовал публиковать до первого вакантного кресла в Академии мои “Думы сельского жителя”. “Нет, нет, - сказал он мне, - вы уже достаточно преуспели… Если бы вы еще могли намекнуть, что больше не будете творить, что вы выдохлись, исписались, что вы просто светский человек… Академики это обожают”. Следует присоединить эти слова к ценному совету Пишераля: “Не приносите им ваших книг”. Видно, чем меньше у тебя трудов, тем больше возможностей. Весьма влиятельный человек этот Пишераль; он тоже приедет к нам летом, ему можно будет отвести комнату в третьем этаже, хотя бы бывшую кладовую, там видно будет. Сколько предстоит тебе хлопот, бедная моя Жермен, да еще при твоем слабом здоровье!.. Но ничего не поделаешь! И без того уже досадно,

что у нас нет открытого дома зимою в Париже, что мы не можем принимать у себя, как Дальзон, Мозер и другие мои конкуренты. Лечись же, выздоравливай, ради бога!..

Возвращаюсь, однако, к торжественному обеду. Разумеется, там много говорилось об Академии, о тех, на ком останавливается ее выбор, о ее значении, о хороших и дурных толках на ее счет. По мнению Бессмертных, все хулители этого высокого учреждения просто неудачники, которым не удалось туда попасть; что же касается некоторых случаев забывчивости, на первый взгляд непонятных, то для каждого имеется веская причина. Когда я робко назвал имя Бальзака, нашего великого земляка, беллетрист Деминьер, ставивший когда-то шарады в Компьенском дворце, вышел из себя: “Бальзак! А вы его знали? Имеете ли вы понятие, милостивый государь, о ком вы говорите?.. Беспорядочнейший субъект, форменная богема! Человек, у которого никогда двадцати франков не водилось… Мне это известно от его друга Фредерика Леметра (*30). У него никогда не было двадцати франков… И вы хотите, чтобы Академия…” (*31) Старый Рею, трубочкой приложив руку к уху, вообразил, что говорят о жетонах, и сообщил нам забавный случай с его другом Сюаром (*32), который, явившись в Академию 21 января 1793 года, в день казни короля, воспользовался отсутствием коллег и забрал себе все двести сорок франков, отпускаемых на каждое заседание.

Этот старик с его неизменным: “Я сам это видел…” - хороший рассказчик, и если бы не глухота, он был бы блестящим собеседником. В ответ на несколько строф, произнесенных мною в честь, его изумительного долголетия, Жан Рею ответил чрезвычайно благосклонно, назвав меня “дорогой собрат”. Мой учитель Астье поправил его; “Будущий собрат”. Смех, крики “браво”, а потом, при прощании, они все величали меня “будущим собратом”, крепко и многозначительно жали мне руку и говорили: “До свидания, до скорой встречи!” - как бы намекая на мой предстоящий визит. Сущее мытарство эти академические визиты, но раз всем приходится через это пройти… Астье-Рею рассказал мне после обеда у Вуазена, что перед его избранием старый Дюфор заставил его прийти десять раз и ни разу не принял. Астье упрямо явился в одиннадцатый и был принят как нельзя лучше. Нужна настойчивость. “В настоящее время я занимаюсь самым унизительным и скучным делом: добиваюсь кресла в Академию”, - говорит в своих письмах Мериме. И уж если такие люди гнули спину, подавая нам этим пример, то имеем ли мы право быть

горделивее их?

В сущности, если Рипо-Бабен или Луазильон умрут - жизнь обоих в опасности, хотя Рипо-Бабен внушает мне больше доверия, - моим единственным серьезным конкурентом будет Дальзон. Талантлив, богат, в прекрасных отношениях с “князьями”, к тому же у него превосходный винный погреб. Против Дальзона только недавно обнаруженный грешок молодости: “Обнаженная”, книжонка в шестьсот стихотворных строк, выпущенная анонимно в издательстве “Эрополис”, весьма двусмысленная! Уверяют, что он скупил весь тираж и уничтожил его, но что еще осталось в обращении несколько экземпляров с собственноручной надписью автора. Бедняга Дальзон протестует, открещивается, как может, но Академия воздерживается от суждения, пока не будет выяснен вопрос; вот почему мой учитель, не входя в подробности, определенно заявил мне в прошлый вечер: “Я не стану голосовать за Дальзона”. Академия - это салон, вот что нужно понять прежде всего. Туда можно войти только в приличном виде, с незамаранными руками. Как бы там ни было, я слишком порядочный человек и слишком уважаю своего противника, чтобы нанести ему удар из-за угла. А Фажа, переплетчика Счетной палаты, этого странного маленького горбуна, осведомленного о всех библиографических редкостях, которого я иногда встречаю в мастерской Ведрина, я решительно осадил, когда он вздумал предложить мне один из надписанных экземпляров “Обнаженной”. “Ну что ж, возьмет господин Мозер”, - невозмутимо заметил он.

По отношению же к Ведрину мое положение становится затруднительным. В пылу первых встреч я пригласил его к нам в деревню с женой и детьми, а теперь уж не знаю, как и быть, если в то же время приедут супруги Астье и Лаво, которые его не переносят. Это такой резкий, такой оригинальный человек! Представь себе; он дворянин, маркиз де Ведрин, а еще в коллеже скрывал свой титул, свое дворянское происхождение, чему очень многие позавидовали бы в наше демократическое время, когда все можно купить, за исключением родовитости. И какая тому причина? Он хочет, чтобы его любили ради него самого, - вот и понимай, как знаешь. Княгиня Розен меж тем отказалась от паладина, изваянного для княжеской усыпальницы. Об этой статуе много разговоров было в семье художника, в которой с трудом сводят концы с концами. “Когда мы продадим паладина, мне купят заводную лошадку”, - говорил сынишка, а бедная мать тоже рассчитывала

на рыцаря, чтобы заткнуть дыры и хозяйстве, тогда как сам Ведрин видел в деньгах, следуемых ему за этот шедевр, только возможность три месяца постранствовать на дахабиэ по Нилу. Ну, а теперь рыцарь не продан и оплачен будет бог знает когда, после судебного процесса и экспертизы. Но не думай, что их это смутило: ничуть не бывало. Придя к ним в Счетную палату на следующий день после этого неприятного известия, я застал Ведрина за мольбертом: счастливый и довольный, он делал на большом холсте набросок девственного леса, наступающего на развалины разрушенного пожаром дворца. Сидевшие сзади жена и сынишка с восторгом смотрели на него, и г-жа Ведрин тихо и вполне серьезно сказала мне, баюкая свою девочку: “До чего мы рады! Ведрин взялся наконец за живопись!..” Право, не знаешь, смеяться тут или плакать!

Милая сестра. Из того, как нескладно написано мое письмо, ты можешь заключить, в каком лихорадочном волнении протекает моя жизнь с тех пор, как я добиваюсь кресла в Академии. Я бываю в “приемные дни” то у одних, то у других - на обедах и вечерах. Меня даже считают “зеброй” милейшей г-жи Анселен, потому что я усердно посещаю ее пятницы, а по вторникам захожу к ней в ложу во Французской комедии. Во всяком случае, я еще весьма неотесанная “зебра”, несмотря на некоторые изменения, которым я подверг свою персону соответственно канонам академическим и светским. Ты будешь немало удивлена, когда меня увидишь. В прошлый понедельник состоялся интимный прием у герцогини Падовани, где я удостоился быть представленным великому князю Леопольду. Его высочество в самых лестных выражениях отозвался о моей последней книге, о всех моих книгах, которые он знает не хуже меня самого. Замечательные люди эти иностранцы! Но лучше всего я себя чувствую у супругов Астье, в патриархальной семье, дружной и простой. На днях после завтрака мэтру принесли новый академический мундир, и мы его примерили; я говорю “мы”, потому что мэтр захотел посмотреть на меня в этом одеянии, расшитом пальмами. Я надел мундир, треуголку в прицепил шпагу, настоящую шпагу, моя дорогая, которая вынимается из ножен и даже имеет посредине желобок для стока крови. Признаюсь, я показался себе весьма представительным. Пишу тебе об этом, чтобы ты уяснила себе степень этой ценнейшей для меня дружбы.

Возвращаясь в тишину своей маленькой кельи - если уж слишком поздно, чтобы писать тебе, - я принимаюсь за подсчеты. В полном списке академиков я отмечаю тех, кто будет голосовать за меня, а затем

сторонников Дальзона. Я произвожу вычитание, сложение - увлекательнейшее занятие! Я тебе потом покажу. Как я уже говорил, за Дальзона стоят “князья”, но автор “Орлеанского дома”, принятый в Шантильи (*33), должен меня привести туда и представить в ближайшее время. Если я понравлюсь, - с этой целью я заучиваю наизусть описание битвы при Рокруа (*34); видишь, каким ловким становится твой брат? - итак, если я понравлюсь, автор “Обнаженной”, вышедшей в издании “Эрополис”, потеряет самую верную опору. Что же касается моих убеждений, то я от них не отрекаюсь. Я республиканец, бесспорно, но теперь заходят уж слишком далеко. К тому же я прежде всего кандидат в академики. Сразу после этой непродолжительной поездки я рассчитываю вернуться к моей милой Жермен. Молю тебя не расстраиваться и думать о радости великого дня. Да, дорогая сестра, мы, без сомнения, попадем на “пастбище гусаков”, как выражается эта бесшабашная голова Ведрин, нужно только мужество и терпение.

Любящий тебя брат

Абель Фрейде.

Вскрываю свое письмо. Утренние газеты сообщают о смерти Луазильона. Такие удары судьбы волнуют нас, даже когда их ожидаешь и предвидишь. Какое печальное событие, какая утрата для французской литературы!

Бедная моя Жермен! Отъезд мой, видимо, опять откладывается. Рассчитайся с арендаторами. В ближайшие же дни напишу тебе”.

8

Так уж было предопределено, что Луазильону повезет во всем, даже умрет он вовремя. Неделей позже салоны были бы закрыты, весь Париж разъехался бы, наступили бы каникулы и в палате депутатов, и в Академии, и только делегаты от многочисленных обществ, в которых покойный состоял председателем или секретарем, поплелись бы за гробом позади стяжателей академических жетонов, и больше никого. Но Луазильон показал себя ловкачом в после смерти: он отправился на тот свет как раз накануне розыгрыша первого приза на скачках, выбрал безмятежно спокойную неделю, без преступлений, без дуэлей и сенсационных процессов, без политических скандалов, когда торжественные похороны непременного секретаря Академии должны были явиться единственным развлечением Парижа.

В полдень было назначено отпевание, но еще задолго до этого часа огромная толпа собралась у Сен-Жерменского аббатства. Движение было приостановлено, только экипажи приглашенных имели доступ на огромную площадь, окруженную суровым кордоном полицейских, расставленных цепью. Чем был Луазильон, что сделал он в течение своего семидесятилетнего пребывания на этом свете, что означала шитая серебром заглавная буква на высокой черной траурной драпировке - все это очень немногим было известно в толпе, привлеченной обилием полиции и обширностью отведенного покойнику места. Соблюдение расстояния, ширь и простор всегда говорят о почете и о величии! Распространились слухи, что будут актрисы и другие знаменитости; парижские зеваки, теснясь и болтая перед церковью, называли известных им лиц.

На паперти, задрапированной черным сукном, можно было услышать надгробное слово Луазильону, правдивое слово, а не то, которое сейчас будет произнесено на Монпарнасском кладбище, а также правдивый некролог о человеке и его творчестве, совсем непохожий на статьи, заготовленные для завтрашних газет. Творчество это состояло из “Путешествия в Андорскую долину” и из двух докладов, изданных Национальной типографией и относящихся ко времени, когда Луазильон

был главным смотрителем Академии изящных искусств. Сам он был типичным пройдохой, гаденьким, пришибленным стряпчим, с раболепно согнутой спиной, с виноватыми ужимками, молящим о прощении за свои ордена, за расшитый пальмами мундир, за свое положение в Академии, где его пронырливость дельца являлась связующим звеном между различными группами, ни к одной из которых его нельзя было отнести, - о прощении за необыкновенную удачу, за поддержку, оказанную его ничтожеству, его пресмыкающейся низости. Вспоминали его остроту на одном официальном обеде. Суетясь с салфеткой на руке вокруг стола, он с гордостью воскликнул: “Какой превосходный вышел бы из меня лакей!” Подходящая эпитафия для его могилы.

Меж тем как люди философствовали о никчемности его существования, это ничтожество торжествовало даже после смерти. Кареты подъезжали к церкви одна за другой, долгополые ливреи лакеев, коричневые и синие, появлялись, разлетались, сгибались, подметали церковную площадь под грохот захлопывавшихся дверец и стук подножек роскошных экипажей. Журналисты почтительно расступались перед герцогиней Падовани, проходившей горделивой поступью с высоко поднятой головой, перед г-жой Анселен с густым румянцем под траурным крепом, перед г-жой Эвиза, миндалевидные глазки которой, сверкая сквозь вуаль, способны были смутить любого блюстителя нравов, перед всей корпорацией академических дам, страстных почитательниц Бессмертных, их яростных поклонниц, явившихся сюда не столько из уважения к памяти усопшего Луазильона, сколько для того, чтобы полюбоваться на своих идолов, созданных, вылепленных их ловкими ручками, на это настоящее дамское рукоделие, в которое они вложили свои бездействующие силы - гордость, честолюбие, лукавство и волю. К академическим дамам присоединились актрисы под предлогом, что покойный состоял председателем сиротского приюта для детей артистов, на деле же снедаемые ненасытной потребностью присутствовать на таких сборищах. По заплаканным, трагическим лицам их можно было принять за ближайших родственниц. Вот останавливается карета, из нее выходит женщина в глубоком трауре, взволнованная, потрясенная горем. Посмотришь на нее - сердце надрывается. Это, конечно, супруга покойного? Нет! Это Маргарита Оже, красавица, драматическая актриса. Ее появление вызывает во всех концах площади долго не смолкающий гул голосов и толкотню любопытных. Какой-то журналист бросается ей навстречу с паперти, пожимает руки, поддерживает, ободряет.

- Да, вы правы, надо быть мужественной.

Глотая слезы, как бы вдавливая их платком, она входит, точно на сцену, в большой темный храм, где в глубине мерцают свечи, преклоняет колени на скамеечке среди других дам и простирается ниц, предаваясь неутешной скорби. Потом, поднявшись, убитая горем, она спрашивает у подруги, стоящей рядом:

- Какой сбор был вчера в Водевиле?

- Четыре тысячи двести, - отвечает ей товарка тоном, свидетельствующим о том, что и она в безысходном отчаянии.

Затерянный в толпе на самом краю площади, Абель Фрейде слышал вокруг себя:

- Маргарита!.. Это Маргарита! Какой эффектный выход!..

Маленький рост мешал ему, и он тщетно пытался пробраться вперед, как вдруг кто-то хлопнул его по плечу.

- Ты все еще в Париже?.. Твоя бедная сестра вряд ли от этого в восторге…

Ведрин увлек его за собой, работая здоровенными локтями, расталкивая толпу, над которой он возвышался на целую голову.

- Родственники покойного, господа!..

Он провел провинциала в первые ряды; тот был очень рад встрече, но вместе с тем сконфужен, так как скульптор, по своему обыкновению, говорил громко, не стесняясь.

- Как тебе нравится этот счастливчик Луазильон? Народу не меньше, чем на похоронах Беранже. Вот что может пришпорить молодежь…

Взглянув на Фрейде, обнажившего голову при появлении траурной процессии, он заметил:

- Позволь, в тебе какая-то перемена… Да повернись же!.. Несчастный! Ты похож на Луи-Филиппа!..

Поэт с церемонной важностью выпрямился во весь свой маленький рост. Усы свисали у него вниз, на голове у него был кок, его румяное загорелое лицо, обрамленное бакенбардами с проседью, расплылось в добродушной улыбке.

- А, понимаю! - рассмеялся Ведрин. - Прическа и усы для “князей”, для Шантильи! Все еще не оставил мысли об Академии?.. Посмотри на этот маскарад!..

При ярком солнечном свете зрелище на огромной площади было поистине отталкивающее: за катафалком шли члены президиума, которых, словно ради злой шутки, выбрали среди самых нелепых старцев Французской академии, еще более обезображенных костюмом по рисунку Давида, - зеленым мундиром с шитьем, треуголкой и парадной шпагой, ударявшей по уродливым ногам, чего Давид уже никак не мог предусмотреть. Первым шел Газан в треуголке, надетой криво из-за шишек на черепе; ярко-зеленый мундир еще резче оттенял его жирное, землистого цвета лицо с шелушащейся кожей и огромным, как хобот, носом. Рядом с ним шествовал мрачный, долговязый Ланибуар, с лиловыми прожилками на щеках и перекошенным ртом параличного петрушки, прятавший свои пальмы под кургузым пальто, из-под которого торчали кончик шпаги и фрачные фалды, что придавало ему, особенно в треуголке, вид факельщика, гораздо менее представительного, чем академический педель с булавой черного дерева, выступавший впереди. Далее следовали Астье-Рею, Деминьер, сконфуженные, смущенные, словно сознававшие свою комичность и со смиренным видом извинявшиеся за свой наряд, более или менее приемлемый под холодным, так сказать, историческим светом высоко подвешенных люстр академического купола, но в гуще жизни, на многолюдной площади, вызывавший улыбки. То была выставка мартышек.

- Право, так и хочется швырнуть им пригоршню орехов, чтобы посмотреть, как они побегут на четвереньках…

Но Фрейде не слышал этой новой дерзости своего ни с чем не считавшегося спутника. Он незаметно улизнул от Ведрина, смешался с процессией и пробрался в церковь между двумя рядами солдат с

опущенными дулом вниз ружьями. В сущности, он был несказанно рад смерти Луазильона, которого никогда не видел, не знал и не мог любить за его труды по одному тому, что никаких трудов у него и не было. Он испытывал к нему чувство благодарности за его кончину, за кресло, освободившееся как раз вовремя. Тем не менее весь этот погребальный церемониал, приглядевшийся старым парижанам, стоявшие шпалерами солдаты с ранцами за спиной, дружный стук ружей о плиты по команде шустрого офицерика, совсем еще юного, сердитого, с застегнутой подбородью, для которого эти похороны были, очевидно, первым серьезным делом, а главное - печальная музыка и приглушенный бой барабанов растрогали Фрейде. Он проникся бесконечным благоговением, и, как всегда, когда его охватывало сильное чувство, к нему слетели рифмы. Начало было очень удачное: широко и образно передавалась душевная тревога, грусть, тоска, потрясение, переживаемые страной при утрате великого человека. Но он остановился на полуслове, чтобы предложить место Данжу, который, явившись с большим опозданием, проходил по храму, сопутствуемый шепотом и взглядами женщин. Он шел, высоко закинув свою гордую суровую голову, привычным жестом проводя по ней ладонью, вероятно, для того, чтобы убедиться, на месте ли парик.

”Он меня не узнал, - подумал Фрейде, озадаченный уничтожающим взглядом, которым академик смерил эту козявку, дерзнувшую подать ему знак, - должно быть, мои бакенбарды…”

Отвлекшись от своих стихов, кандидат принялся обдумывать план атаки, визиты, официальное письмо на имя непременного секретаря. Но ведь секретарь умер… Назначат ли Астье-Рею еще до каникул? А когда состоятся выборы? Его заботило все, вплоть до мелочей, до заказа мундира. Обратиться ли к портному мэтра? Можно ли у того же портного получить треуголку и шпагу?

Pie Iesu Domine…

[Господи Иисусе милостивый (лат.)

(из католической заупокойной службы)]

Прекрасный голос профессионального певца раздался за алтарем, моля даровать покой Луазильону, которого милосердный бог, казалось, собирался жестоко терзать, потому что вся церковь во всех тонах, во всех регистрах взывала соло и хором: “Упокой его, упокой, господи! Да почиет он с миром после стольких интриг и треволнений!”

Этому печальному, проникавшему в душу напеву вторили из глубины собора рыдания женщин, покрывавшиеся трагическим воплем Маргариты Оже, ее страшным воплем из четвертого акта “Мюзидоры”. Вся эта скорбь глубоко взволновала добродушного кандидата, пробудила в нем воспоминания о других утратах, о других горестях: он думал о своих покойных родителях, о сестре, заменившей ему мать, приговоренной всеми врачами, которая знала это и во всех письмах об этом говорила. Увы! Доживет ли бедняжка до торжественного дня?.. Слезы застилали глаза, и ему пришлось утереть их.

- Это уж слишком… Это уж слишком… Вам все равно не поверят, - ехидно пробурчал над самым его ухом толстяк Лаво.

Фрейде обернулся в гневе, но в это самое время молоденький офицер яростно скомандовал:

- На… плечо!..

Лязгнули ружья, и орган загремел “Марш на смерть героя”.

- Процессия двинулась к выходу. Во главе, как и прежде, президиум: Газан, Ланибуар, Деминьер, и добрый учитель Фрейде Астье-Рею. Теперь они были великолепны. Попугаечно-зеленый цвет их расшитых золотом мундиров тонул в полумраке высоких сводов. Они выходили из глубины храма парами и медленно, точно нехотя, направлялись к огромному, сияющему квадрату - к открытым настежь высоким дверям. За президиумом следовала вся корпорация, пропуская вперед старейшего, достойного изумления Жана Рею, который казался еще выше в своем долгополом сюртуке; он шел, высоко подняв смуглую головку, точно выдолбленную из кокосового ореха, с видом пренебрежительным и рассеянным, означавшим, что он уже “это видел” несметное число раз. И в самом деле: за шестьдесят лет, в течение которых почтенный старец получал жетоны в Академии, он, надо полагать, наслышался псалмов и не

раз кропил святой водой катафалки прославленных покойников.

Но если Жан Рею прекрасно играл Бессмертного, то следовавшие за ним “праотцы” представляли собой смешную, жалкую пародию на это звание. Дряхлые, сгорбленные, кривобокие, точно старые фруктовые деревья, они еле волочили ноги, спотыкались, моргали, как ночные птицы; те, которых никто не поддерживал, двигались ощупью. Имена их, произносимые шепотом в толпе, вызывали воспоминания об их трудах, которые канули в Лету, которые были давным-давно позабыты. Рядом с этими выходцами с того света, с этими “отпускниками с Пер-Лашез”, как их назвал какой-то остряк из конвоя, остальные академики казались молодыми; они пыжились, выпячивали грудь под восторженными взглядами женщин, сверкавшими сквозь черные вуали, среди теснившейся толпы, среди киверов и ранцев одуревших солдат.

И на этот раз поклон Фрейде двум-трем “будущим собратьям” был встречен холодной и презрительной усмешкой, вызывавшей в памяти дурные сны, когда лучшие друзья не узнают нас. Но не успел поэт этим опечалиться, как оказался в водовороте толпы, двигавшейся в противоположных направлениях: внутрь церкви и к выходу.

- Ну, дорогой виконт, придется нам теперь поддать пару.

Этот совет, сказанный ему на ухо любезным Пишералем среди гула голосов и стука передвигаемых стульев, ободрил несчастного кандидата, но когда он проходил мимо помоста, на котором стоял гроб, Данжу протянул ему кропило и, не глядя на него, прошептал:

- Сами не действуйте… Плывите по течению.

У Фрейде ноги подкосились. Поддать пару!.. Не действовать!.. Какому совету следовать, какой лучше? Его учитель Астье, наверное, ему это разъяснит. Поэт попытался выбраться из храма, чтобы отыскать мэтра. Но сделать это было нелегко на запруженной народом церковной площади в то время, как размещалась процессия и устанавливали гроб, заваленный бесчисленными венками. Нет ничего оживленнее выхода из церкви после отпевания на простор улицы в прекрасный солнечный день. Слышатся приветствия, светские любезности, не имеющие ничего общего с печальной церемонией, люди чувствуют облегчение, им хочется

вознаградить себя за долгий час, проведенный в полной неподвижности, под звуки печального пения. Знакомые делятся своими планами, уславливаются о встрече - все говорит о том, что после краткого перерыва жизнь торопится вновь вступить в свои права, отбрасывая бедного Луазильона далеко в прошлое, которому он отныне принадлежит.

- Во Французской комедии, вечером… Только не забудьте… Это последний вторник, - лепетала г-жа Анселен.

- Вы будете до конца? - спросил Поль толстяка Лаво.

- Нет, я провожу госпожу Эвиза.

- Значит, в шесть у Кейзера - это будет недурно после речей.

Траурные кареты приближались длинной вереницей, между тем как другие экипажи стремительно уносились в разные стороны. Из всех окон, обращенных на площадь, высовывались люди. На конках, прекративших движение вдоль Сен-Жерменского бульвара, пассажиры стояли на империале, и головы их возвышались в несколько рядов, черными нитями прорезая синеву неба.

Фрейде, ослепленный солнечным светом, низко надвинув шляпу, смотрел на огромную толпу и чувствовал прилив гордости; он относил к Академии эту посмертную славу, которую никак нельзя было приписать автору “Путешествия в Андорскую долину”. В то же время он, к своему великому прискорбию, убеждался, что его дорогие “будущие собратья” явно держали его на почтительном расстоянии, делали вид, когда он приближался, что они чем-то заняты, или же просто отворачивались, давая понять, что он лишний. Так поступали даже те, которые третьего дня у Вуазена обласкали его; “Когда же вы будете одним из наших?” Но горше всего ему было, что и Астье-Рею отступился от него.

- Какое несчастье, дорогой мэтр! - обратился к нему с соболезнующим видом кандидат, только чтобы что-нибудь сказать, чтобы почувствовать человеческое тепло.

Астье, стоя возле катафалка, не ответил, он перелистывал свою речь, которую ему предстояло произнести.

Фрейде повторил:

- Какое несчастье!

- Вы ведете себя неприлично, милый Фрейде, - произнес мэтр громко и резко. Щелкнув челюстью, он снова углубился в чтение.

Неприлично?.. Почему?.. Несчастный инстинктивно стал ощупывать, все ли пуговицы у него на месте, с тревогой осмотрел себя с головы до ног, не будучи в состоянии понять, чем вызваны эти резкие слова осуждения. Что случилось? Что он сделал?

У него потемнело в глазах. Он смутно видел, как катафалк с колыхавшейся на нем пирамидой цветов и зелеными мундирами по четырем углам тронулся с места. Сзади следовали тоже зеленые мундиры, потом вся корпорация, а за нею на почтительном расстоянии шла другая группа людей, среди которых очутился и он, сам не зная, как он туда попал. Молодые люди и старики, унылые, печальные, с глубокой складкой посреди лба, которая свидетельствовала о снедавшей их мысли, смотрели на своего соседа подозрительным, ненавидящим взглядом. Оправившись от пережитого волнения, Фрейде мог назвать каждого из них; он увидел увядшее, озабоченное лицо папаши Мозера - вечного кандидата, открытое лицо Дальзона, автора двусмысленной книжонки, забаллотированного на последних выборах, Салеля, Герино. Все они тащились на буксире; ими Академия больше не занималась, она предоставляла им плыть по волне, оставляемой победоносным судном, поймавшим их на надежный крючок. Все они были здесь налицо, несчастные пойманные рыбы: одни уже дохлые, под водой, другие еще продолжали биться и бросали страдальческие, алчные взгляды, просящие, молящие, вечно молящие. Давая себе клятву избежать этой участи, Абель Фрейде шел на ту же приманку, тянулся за удочкой, так крепко попавшись на крючок, что вырваться ему не было уже никакой возможности.

Вдали, на улицах, очищенных от толпы, по пути следования процессии, приглушенная барабанная дробь, чередуясь с рокотом труб, привлекала прохожих, толпившихся на тротуарах, и любопытных, высовывавшихся из окон. Потом снова раздались протяжные звуки “Марша на смерть героя”. И при виде этих необычайных почестей, этих национальных похорон, этого горделивого протеста униженного в своем достоинстве человека,

побежденного смертью, но сумевшего возвысить и украсить свое поражение, отрадно было сознавать, что все это делается для Луазильона, непременного секретаря Французской академии, то есть для ничтожнейшего из ничтожных.

9

Ежедневно между четырьмя и шестью, то несколько раньше, то позднее, смотря по времени года, Поль Астье приезжал принимать душ в водолечебницу д-ра Кейзера, находившуюся в конце предместья Сент-Оноре. Двадцать минут фехтования, бокса или упражнения на палках, затем холодный душ и плавание в бассейне. По выходе оттуда минутная остановка у цветочницы на улице Цирка, чтобы вдеть себе гвоздику в петлицу, а затем прогулка для моциона до Триумфальной арки на площади Звезды. Стэн в кабриолете следовал за ним вдоль тротуара. Потом катание по аллее акаций, где Поль возбуждал зависть женщин своим ярким цветом лица и нежной, как у девушки, кожей, чего он добился, неукоснительно соблюдая вошедшие в моду правила гигиены. Посещение водолечебницы избавляло его от чтения газет: сплетни передавались здесь из кабины в кабину, облетали фехтовальный зал, где завсегдатаи Кейзера болтали, сидя на диванах в замшевых куртках для стрельбы или во фланелевых халатах, не переставая судачить даже у дверей докторского кабинета в ожидании очереди на душ. Громко, без стеснения оглашались здесь последние новости: клубные, салонные, парламентские, биржевые и судебные, - среди лязга рапир и стука палок, подзывания служителей, резких похлопываний по голому телу, среди скрипа кресел на колесиках для ревматиков, фырканья пловцов в бассейне под гулкими сводами и покрывавших шум рассекаемой и струящейся воды возгласов добрейшего д-ра Кейзера, который, стоя на своем помосте, беспрестанно повторял, как припев, одно и то же слово:

- Повернитесь!

В этот день Поль Астье с наслаждением “поворачивался” под благодатной струей воды, оставляя здесь свою мигрень и пыль, привезенные с похорон, а заодно и звучавшие в его ушах надгробные академические сетования в стиле Астье-Рею: “Часы его были сочтены… Хладная рука Луазильоне… Испита до дна чаша счастья…” О, папаша! О, дорогой мэтр! Действительно, требовалось много воды - дождя, струй и каскада, - чтобы смыть воспоминание об этом мрачном пустословии. Еще весь мокрый, Поль столкнулся с каким-то высоким субъектом, вылезавшим

из бассейна; субъект кивнул ему, дрожа от холода, согнувшись в три погибели; широкий резиновый капюшон закрывал ему голову и часть лица. Глядя на это мертвенно-бледное худое тело, на эту неестественную, деревянную походку, Поль принял его за одного из тех несчастных неврастеников - пациентов Кейзера, которые приходят для взвешивания в фехтовальный зал, безмолвные, словно ночные птицы, составляя разительный контраст с жизнерадостным смехом и избытком сил окружающих. Но презрительная горбинка длинного носа и брезгливо опущенные углы рта смутно напомнили ему кого-то из общества. В кабине, в то время как служитель массировал его, Поль спросил:

- Кто это поклонился мне, Раймон?

- Князь д’Атис, сударь, - ответил Раймон, подобострастно произнося слово “князь”. - Он с некоторых пор принимает душ, и всегда по утрам… Только сегодня он запоздал из-за чьих-то похорон - так он сказал Жозефу.

В полуоткрытую дверь кабины виден был на противоположной, четной стороне коридора толстый, заплывший белым бесформенным жиром Лаво - голый, он пристегивал под коленями подвязки к длинным чулкам, какие обычно носят женщины и духовные лица.

- Ну, что скажете, Поль? Видели, как Сами набирается сил?

Лаво лукаво подмигнул.

- Набирается сил?..

- Ну да! Он женится через две недели, вы же знаете. Чтобы не ударить лицом в грязь, бедняга смело взялся за холодный душ и прижигания.

- А когда же он собирается в посольство?

- Очень скоро. Княгиня уже уехала. Там они и повенчаются.

Поль Астье почуял беду.

- Княгиня?.. Да на ком же он женится?

- Что вы, с луны свалились, что ли? Вот уже два дня весь Париж только

об этом и говорит… На Колетте, черт возьми, на безутешной Колетте! Хотелось бы мне знать, как это приняла герцогиня… На похоронах Луазильона она держалась прекрасно, но не подняла вуали, никому не сказала ни слова… Нелегко проглотить такую пилюлю!.. Подумать только: не далее как вчера мы с ней вместе ездили выбирать обивку для петербургской спальни изменника.

Лаво говорил гнусавым, злым, как у светской кумушки, голосом, продолжая застегивать свои подвязки, а в виде аккомпанемента к этому жестокому рассказу через две кабины от них среди гулких похлопываний по голому телу раздавался голос князя, подбадривавшего служителя:

- Крепче, Жозеф, крепче! Не бойтесь!

Разбойник действительно набирался сил.

Поля Астье, который при первых словах Лаво пересек коридор, чтобы лучше слышать, охватило безумное желание вышибить ногой дверь в кабину к князю и наброситься на него, грубо потребовать объяснений от этого негодяя, вырвавшего у него из рук богатство. Но он счел свой гнев неуместным и вернулся к себе, чтобы одеться и немного успокоиться, - он понимал, что прежде всего ему нужно поговорить с матерью, узнать от нее действительное положение вещей.

Петлица его в этот вечер, сверх обыкновения, осталась без цветка, и, меж тем как женщины под ленивое покачивание растянувшихся вереницей экипажей искали глазами красивого молодого человека в аллее, где его привыкли видеть, он несся на Бонскую. Там его встретила Корантина, неряшливо одетая, с засученными рукавами. Пользуясь отсутствием барыни, она принялась за большую стирку.

- Вы не знаете, где мама обедает?

Нет, барыня ей ничего не сказала, но барин наверху, копается в бумагах.

Лестница жалобно заскрипела под тяжелыми шагами Леонара Астье.

- Это ты, Поль?

Полумрак коридора и душевное смятение, в котором он находился,

помешали молодому человеку заметить растерянный вид отца и взволнованный тон, каким тот отвечал на вопросы.

- Как поживает мэтр?.. Мамы нет дома?..

- Нет, она обедает у госпожи Анселен и собирается с ней в театр… Попозже и я поеду туда.

Отцу и сыну нечего было больше сказать - они стояли лицом к лицу, чужие и враждебные друг другу. Сегодня, однако, Поль сгорал от нетерпения и готов был спросить Леонара, что ему известно относительно брака Сами, но он тут же спохватился:

”Он слишком глуп, мама не могла с ним об этом говорить”.

Отец, тоже терзаемый желанием задать какой-то вопрос, со смущенным видом обратился к сыну:

- Послушай, Поль… Представь себе, что у меня пропали… Я вот сейчас ищу…

- Что ты ищешь?

Астье-Рею на минуту заколебался, вглядываясь в красивое лицо сына, неизменно сохранявшее из-за слегка искривленного носа выражение неискренности, потом угрюмо и печально сказал:

- Нет, ничего, это бесполезно… Можешь идти.

Полю Астье оставалось только встретиться с матерью в театре, в ложе г-жи Анселен. Предстояло убить два-три часа. Он отослал экипаж, приказав Стэну приехать одевать его в клуб, сам же медленным шагом пошел бродить по Парижу, тающему в вечерних сумерках, когда кругло подстриженные кусты в тюильрийских садах загораются яркими красками на фоне темнеющего неба. Этот час восхитительной неопределенности словно создан для людей, погруженных в мечты или деловые комбинации. Экипажи попадаются все реже. Тени прохожих мелькают, слегка задевая вас; можно без помехи отдаваться своим думам. Молодой честолюбец размышлял, вновь обретя самообладание и ясность мысли. Он размышлял, как Наполеон в последние часы сражения при Ватерлоо: в течение целого

дня неизменный успех, а вечером - неожиданное поражение. Почему? Какая была совершена ошибка? Он расставлял по местам фигуры на шахматной доске, искал и не мог понять. Быть может, он поступил неосторожно, что целых два дня не виделся с ней, но ведь самая элементарная тактика требовала после эпизода на кладбище дать женщине справиться с угрызениями совести. Можно ли было предвидеть такое поспешное бегство? Внезапно у него явилась надежда, что княгиня, эта легкомысленная птичка, меняющая свои решения, как жердочки, еще не уехала, что он застанет ее за приготовлениями; к отъезду, безутешной, в нерешимости, вопрошающей портрет Герберта: “Посоветуй мне!..” - и он вернет ее, заключив в свои объятия. Теперь он понимал и ясно представлял себе, как складывались в ее маленькой головке все перипетии пережитого ею романа.

Он приказал отвезти себя на улицу Курсель. Особняк опустел! Ему сказали, что княгиня отбыла сегодня утром. Совсем упав духом, Поль вернулся домой, только чтобы не быть в клубе, где ему пришлось бы болтать и отвечать на вопросы. Вид огромного, в средневековом стиле дома, с фасадом, походившим на Башню голода и облепленным ярлычками, заставил его сердце болезненно сжаться, напомнив о ворохе неоплаченных счетов. Ощупью он вошел к себе в особняк, пропахший запахом жареного лука: в те вечера, когда хозяин обедал в клубе, несносный маленький грум готовил себе тушеную говядину. Мастерская еще не погрузилась во мрак. Поль бросился на диван, раздумывая о том, что это за полоса неудач преследует его, расстраивая его замыслы, его хитроумнейшие комбинации, и заснул на два часа, после чего проснулся преображенным. Подобно тому как память обостряется во время сна, его воля, его интриганские способности не оставались бездейственными во время этого краткого отдыха. У него созрел новый план, к нему опять вернулась холодная и твердая решимость, которую французская молодежь проявляет гораздо реже, чем склонность к бряцанию оружием.

Поль быстро оделся, подкрепил силы парой яиц и чашкой чаю, слегка провел щипцами по бороде и усам, и, когда на контроле во Французской комедии он назвал имя г-жи Анселен, самый наблюдательный человек не мог бы в этом до кончиков ногтей светском щеголе подметить хотя бы намек на озабоченность и угадать, что заключает в себе эта очаровательная салонная вещица, покрытая черным и белым лаком и запертая на крепкий замок.

Культ официальной французской литературы, созданный г-жой Анселен, имел два храма: Французскую академию и Французскую комедию, но так как первый бывал открыт только для вознесения ревностных молитв верующих, то она усердствовала во втором, с необычайной пунктуальностью посещая все службы, не пропуская ни одной премьеры, ни одной генеральной репетиции, ни одного абонементного спектакля по вторникам. Книги она читала только с маркой Академии и с благоговением внимала только артистам Французской комедии, которых, еще не пройдя контроля, одаряла словами, полными умиления и неистового восторга. В своем воображении почтенная дама воздвигала две огромные кропильницы из белого мрамора у входа в дом Мольера, перед статуями Рашели и Тальма.

- Ах, какой порядок!.. Какие швейцары!.. Какой театр!..

Размахивая своими короткими ручками, с трудом переводя дыхание, толстая дама наполняла коридор экспансивной, шумной радостью, вызывавшей со всех сторон восклицания: “Вот и госпожа Анселен!” В особенности по вторникам равнодушие светской, чопорной публики составляло разительный контраст с ложей, где ворковала и млела от наслаждения, чуть не перевесившись через барьер, добродушная толстая горлица с розовыми глазками, трещавшая без умолку: “О, этот Коклен! О, этот Делоне! (*35) Что за молодежь!.. Какой театр!..” Ни о чем ином в этой ложе не разрешалось говорить, во время антракта знакомых встречали восторженные возгласы о таланте автора-академика или о прелестях актрисы из труппы любимого театра.

Когда вошел Поль Астье, занавес был поднят, и он, зная обряды этого культа, строжайший запрет произносить хотя бы одно слово во время действия, здороваться, двигать креслом, выжидал, стоя неподвижно в аванложе, отделенной одной ступенькой от самой ложи, где ее хозяйка предавалась восторгам, восседая между г-жой Астье и г-жой Эвиза; Данжу и Фрейде с физиономиями висельников сидели позади. При характерном щелканье затворяемой двери в ложу, за которым последовало грозное “Тшш!”, обращенное к непрошеному гостю, дерзнувшему нарушить богослужение, мать слегка обернулась и вздрогнула, увидев сына. Что случилось? Что за важное и неотложное дело привело его сюда, в это осиное гнездо скуки, - его, способного скучать только ради какой-нибудь цели? Наверно, опять деньги, проклятые деньги. К счастью, они скоро у

нее будут: женитьба Сами обогатит их. Несмотря на желание подойти к сыну, успокоить, сообщить радостную новость, которой он, возможно, еще не знает, она принуждена была оставаться на месте, смотреть на сцену и подпевать хозяйке: “О, этот Коклен!.. О, этот Делоне!.. Ох!.. Ах!..” Ожидание было для нее мучительной пыткой, как и для Поля, ничего не видевшего, кроме ослепительно яркого, раскаленного барьера рампы и отражавшейся в боковом зеркале части зрительного зала. Казалось, что окутанные голубоватой дымкой кресла, ложи и партер, ряды человеческих лиц, женские наряды и головные уборы находятся под водой - такие они были бесцветные, призрачные. В антракте - обязательное выслушивание похвал:

- А платье Рейшамбер? Вы заметили, милый Поль?.. Передник из розового стекляруса, а полосы по бокам из ленты. Заметили? Нет, право, только здесь и умеют одеваться.

Начали появляться знакомые. Мать добралась наконец до сына, села с ним на диван, и там, среди мехов и вечерних манто, они заговорили шепотом, наклонившись друг к другу.

- Отвечай коротко и ясно, - начал Поль. - Сами женится?

- Да, герцогиня знает об этом со вчерашнего дня… Но она все-таки сюда явилась… Эти корсиканцы так горды!

- А имя богатой иностранки… Теперь ты можешь его назвать?

- Боже мой, Колетта! Точно ты не догадывался!

- И в голову не приходило… Сколько ты за это получишь?

- Двести тысяч… - прошептала она торжествующе.

- А мне твои интриги обошлись в двадцать миллионов… Я потерял двадцать миллионов и женщину…

В бешенстве стиснув ей руки, он бросил ей в лицо:

- Ловкачка!

Она замерла на месте, словно оглушенная. Так это он был причиной того сопротивления, того противодействия, которое она встречала в иные дни, это из-за него вздыхала дурочка: “Если б вы только знали!” - безутешно рыдая в объятиях старшей подруги! И вот по окончании подкопа, который каждый со своей стороны вел к заветному кладу так хитро, терпеливо и таинственно, они при последнем ударе заступом очутились лицом к лицу, но с пустыми руками. Мать и сын молчали и искоса поглядывали друг на друга. Глаза их, такие схожие, злобно горели в полумраке. А знакомые меж тем приходили и уходили, оживленная беседа не прекращалась. И сильна же эта дисциплина, эта светская выдержка, заставившая обоих подавить в себе переполнявшее их желание кричать, топать ногами, вопить, разнести все вокруг!

Госпожа Астье первая прервала молчание:

- Если бы еще княгиня не уехала…

Рот ее исказился от злобы - ведь этот внезапный отъезд был тоже делом ее рук!

- Заставим вернуться! - сказал Поль.

- Каким образом?

Вместо ответа он спросил:

- Сами в театре?

- Не думаю. Куда ты? Что ты хочешь делать?

- Оставь меня в покое… Слышишь? Только не вмешивайся… У тебя несчастливая рука.

Он вышел из ложи с толпой посетителей, удалявшихся по окончании антракта, а мать вновь заняла свое место слева от г-жи Анселен, по-прежнему восторженной, благоговеющей, в состоянии вечного экстаза.

- О, этот Коклен!.. Да посмотрите же, милая!

Но “милая” была очень рассеянна. С блуждающим взглядом и

страдальческой улыбкой освистанной балерины, она под предлогом, что свет рампы слепит ей глаза, поминутно оборачивалась к зрительному залу, отыскивая сына. Пожалуй, он еще затеет ссору с князем, если тот здесь… И все по ее вине, из-за ее чудовищной недогадливости…

- О, этот Делоне! Вы видели? Видели?..

Нет, она видела только ложу герцогини, куда кто-то вошел, такой же изящный и молодой, как ее Поль, но это был юный граф Адриани, узнавший вместе со всем Парижем о разрыве и уже пустившийся по свежим следам. До самого конца спектакля мать терзалась страхом, тысячи смутных планов роились в ее голове. Она припоминала все, что случилось, даже мелкие эпизоды, которые должны были насторожить ее. Ах, дура, дура!.. Как это она не сообразила?..

Наконец-то разъезд! Но до чего все это медленно, остановки на каждом шагу, обмен приветствиями, улыбки, рукопожатия!

- Где вы проводите лето? Приезжайте к нам в Довиль.

В узком коридоре, где теснится толпа, где женщины укутываются в меха и шали, проверяя грациозным движением, на месте ли их сережки, на широкой мраморной белой лестнице, внизу которой ожидают слуги, мать, продолжая разговаривать, зорко всматривается, прислушивается, старается уловить в гуле огромного светского пчелиного роя, разлетающегося на несколько месяцев, словцо, намек на какое-нибудь столкновение. Но вот показалась герцогиня, гордая и величественная, в длинном белом манто, затканном золотом, - она спускалась под руку с папским гвардейцем. Она знает, какую подлость учинила ей приятельница, и обе женщины, проходя, обмениваются холодным взглядом, лишенным всякого выражения, но более опасным, чем самая отчаянная ругань прачек на мостках. Они знают теперь, чего можно ждать друг от друга, знают, что в этой войне, сменившей их задушевную близость, противники вооружены отравленными стрелами и каждый удар будет метко направлен искусной рукой в самое чувствительное место. Но обе находятся при исполнении светских обязанностей, обе прикрываются личиной хладнокровия, и их злобные чувства, у одной - глубокие и сильные, у другой - полные яда, могут соприкоснуться, столкнуться, не угрожая вспышкой.

Внизу, в толпе выездных лакеев и молодых щеголей, ждал Леонар Астье, заехавший за женой, как он ей и обещал.

- А вот и мэтр! - воскликнула г-жа Анселен.

В последний раз, смочив пальцы святой водой, она окропила ею всех - академика Астье-Рею, академика Данжу, и Коклена, и Делоне. Ох!.. Ах!.. Леонар молча следовал за нею, ведя под руку жену, сердито подняв от сквозняка воротник. Шел дождь. Г-жа Анселен предложила подвезти супругов, правда, без особой настойчивости, как обычно поступают люди, имеющие собственные экипажи, но боящиеся утомить лошадей, а пуще всего прогневать кучера, разумеется, лучшего кучера в Париже. Впрочем, мэтра ждал фиакр; он резко прервал поток любезностей, расточаемых толстой дамой.

- Ну, конечно, конечно, - щебетала она, - знаем мы вас… Чтобы побыть вдвоем… Ах, эти счастливые супруги!..

По мокрым проходам Леонар Астье увел жену.

Когда светская чета по окончании бала или вечера уезжает в карете, невольно возникает вопрос: “О чем они теперь будут говорить?” По большей части ни о чем особенном. Муж обычно покидает такого рода празднества раздраженный, усталый, а жена старается еще продлить их в темноте экипажа, сравнивая все мелочи своего наряда, своей внешности с тем, что она сейчас видела, припоминая особенности туалетов и убранства комнат. Но надетая в обществе маска столь бесстыдна, лицемерие света столь велико, что было бы любопытно понаблюдать за тем, как будет отброшена светская рисовка, уловить правду в звуках голоса, в самом существе этих людей, увидеть подлинные отношения между супругами, внезапно освободившимися от стеснений и условностей в своей карете, которая мчится по пустынному Парижу между отблесками фонарей.

Что касается супругов Астье, то их возвращения были особенно характерными. Оставшись наедине с мужем, г-жа Астье тотчас отбрасывала всякую почтительность и внимание, которыми она окружала мэтра в обществе, говорила резко, словно вымещая свой вынужденный интерес к его рассказам, прослушанным уже сотни раз и наводящим на нее смертельную скуку. Леонар, благодушный от природы, неизменно

довольный собой и другими, возвращался обычно в самом радужном настроении и каждый раз бывал озадачен теми гадостями, которые его жена принималась рассказывать про хозяев дома - их друзей и про гостей, только что встреченных там. В своем злословии она спокойно доходила до самых чудовищных обвинений, с той легкостью, с тем бессовестным преувеличением, которыми проникнуты все взаимоотношения парижского общества. Чтобы не раздражать жену, он молчал, нахохлившись, или же дремал в своем углу. В этот вечер, не в пример прочим, мэтр развалился в экипаже, не обращая внимания на окрик жены: “Нельзя ли поосторожнее с моим платьем!” - пропустив мимо ушей этот пронзительный крик женщины, у которой помяли ее наряд. Но ему было наплевать на ее платье.

- Меня обокрали, сударыня! - крикнул он так громко, что стекла зазвенели.

Ах, боже мой!.. Автографы!.. Она совсем о них позабыла, в особенности в эту минуту, снедаемая более серьезной тревогой, и в удивлении ее не было ни малейшего притворства.

Обокрали, унесли письма Карла V, три ценнейших документа… Но голос его уже утратил уверенность, необходимую при атаке, подозрения его были поколеблены искренним изумлением Аделаиды. А она тем временем оправилась:

- Кого же вы подозреваете?

В честности Корантины, по ее мнению, сомневаться не приходится… Вот разве Тейседр… Но как можно предположить, что такой неотесанный болван…

Тейседр!.. Леонар даже завопил, настолько ему это показалось очевидным. Движимый ненавистью к человеку со щеткой, он как нельзя лучше объяснил себе преступление, проследив его от самых истоков, с той минуты, когда за столом зашла речь о ценности манускрипта. Слова мэтра, подхваченные Корантиной, были в простоте душевной повторены ею на кухне… Ах, негодяй, у него и вид настоящего преступника! Что за безумие было противиться этому безотчетному чувству недоверия! Разве естественна, в самом деле, эта антипатия, ненависть, которую внушил полотер ему, Леонару Астье, академику? Получит же он по заслугам, этот

мерзавец, живо отправится на каторгу!

- Письма Карла Пятого! Ты только подумай…

Он решил, не заезжая домой, подать жалобу полицейскому комиссару. Жена пыталась отговорить его:

- Да вы с ума сошли!.. К комиссару после полуночи!

Но он заупрямился и высунулся под дождь, чтобы отдать приказание кучеру. Г-же Астье пришлось резко потянуть его назад. Усталая, измученная, не имея больше сил поддерживать эту ложь, вывертываться и хитрить, она призналась во всем:

- Это не Тейседр… Это я!..

Не переводя дыхания, она рассказала про поездку к Босу и про полученные деньги - двадцать тысяч франков, которые ей надо было достать во что бы то ни стало… Последовавшее затем молчание было столь продолжительным, что она подумала, не случился ли с мужем обморок или не хватил ли его удар. Нет. Но, подобно упавшему или сильно ударившемуся ребенку, бедный Крокодил так широко раскрыл рот, чтобы дать выход своему гневу, набрал такое количество воздуха, что не мог издать ни единого звука. Но вот наконец раздался неистовый рев на всю площадь Карусель, через которую ехал по лужам фиакр:

- Обокрали! Меня обокрали… Жена обокрала меня ради сына…

Его исступленный бред прерывался бранными словами из лексикона овернских крестьян вперемежку с воплями Гарпагона, оплакивающего украденную шкатулку (*36): “О, где ты, справедливость! Праведное небо!.. Я погиб!..” - и с восклицаниями из других избранных произведений в том же роде, которые он не раз цитировал своим ученикам.

На огромной площади, по которой в этот час театрального разъезда сновали во всех направлениях омнибусы и экипажи, было светло, как днем, от яркого света высоких электрических фонарей.

- Да замолчите же наконец! - остановила его г-жа Астье. - Ведь вас все знают.

- Кроме вас, сударыня.

Ей казалось, что он вот-вот прибьет ее, и в том состоянии нервного напряжения, в каком она находилась, она была бы, пожалуй, этому рада. Но Леонар внезапно притих из боязни скандала, только клялся прахом своей матери, что по приезде домой тотчас уложит свой сундук и отправится прямехонько в Сованья, а его супруга со своим сынком, прожорливой акулой, пусть наслаждаются плодами своего грабежа.

И еще раз высокий старый сундук, подбитый большими гвоздями, был перенесен из передней в кабинет. В нем еще оставалось несколько поленьев с прошлой зимы, но это не остановило Бессмертного, и в течение целого часа на весь дом раздавался грохот от швыряния дров и от хлопанья дверцами шкафов, из которых он все выкидывал, сваливая в опилки, на сухую кору белье, платье, ботинки, даже зеленый мундир и вышитый парадный жилет, аккуратно завернутые в салфетку. Но гнев его, нашедший себе выход в этой возне, постепенно стихал, по мере того как наполнялся сундук, и если от бури оставалась еще легкая зыбь и глухие раскаты, то лишь потому, что он чувствовал себя слабым, связанным по рукам и ногам, всеми своими корнями вросшим в эту жизнь. А г-жа Астье, присев на краешек кресла, в капоте и в ночном кружевном чепчике, смотрела на эти сборы и, позевывая, повторяла спокойно и насмешливо:

- Леонар! Ну полно!.. Леонар!..

10

- …Для меня люди, как и вещи, имеют только одно значение, интересуют только с той стороны, с которой к ним можно подойти, чтобы вертеть ими как вздумается, чтобы крепко держать их в руках… Эту сторону найти я умею, и в этом моя сила!.. Кучер, к “Черной Голове”!..

По приказанию Поля Астье открытое ландо, в котором он вместе с Фрейде и Ведрином выехал за город, остановилось направо от моста Сен-Клу, перед указанной им гостиницей. Все трое были в черных, словно траурных, цилиндрах, резко выделявшихся на ярком послеобеденном солнышке. При каждом толчке тяжелого наемного экипажа о булыжники площади был виден зловещий длинный футляр из зеленой саржи, торчавший из-под откинутого верха. Готовясь к дуэли с д’Атисом, Поль сначала наметил секундантами виконта де Фрейде, из-за его титула и частицы “де”, и графа Адриани, но нунциатура побоялась нового скандала после истории с кардинальской шапкой, и Полю пришлось заменить юного Пепино скульптором, но его не покидала надежда, что, быть может, в последнюю минуту, для протокола дуэли, который будет опубликован в газетах, Ведрин не откажется раскрыть свой титул маркиза. Впрочем, ничего серьезного, судя по видимости, не произошло - просто пререкание в клубе за карточным столом, к которому князь присел в последний раз перед своим отъездом из Парижа. Недоразумение тем не менее уладить не удалось ввиду крайней несговорчивости Поля Астье, снискавшего себе громкую славу в фехтовальных залах; пробитые им мишени выставлялись напоказ в тире на бульваре д’Антэн.

В то время как коляска стояла у террасы ресторана, привлекая многозначительные взгляды молчаливых официантов, из круто спускавшегося переулка выкатился толстый человечек. Вертлявый и приветливый, как курортный врач, в белых гетрах, белом галстуке и в цилиндре, он издали махал зонтиком.

- Вот и Гомес… - сказал Поль.

Доктор Гомес, студентом успешно работавший в парижских больницах,

а потом опустившийся из-за пристрастия к картам и давнишней сомнительной связи, искатель приключений низкого пошиба, человек не злой, но беспринципный, сделал своей специальностью участие в такого рода делах, получая за труды два луидора и завтрак. Девицы легкого поведения звали его дядюшкой. В настоящее время он отдыхал у Клокло в Вилль-д'Авре и прибыл к назначенному месту запыхавшись, держа в руках дорожный мешок с набором хирургических инструментов, аптечкой, бинтами, лубками в таком количестве, что их хватило бы на целый перевязочный пункт.

- Укол или рана? - спросил он, усевшись в ландо против Поля.

- Укол… укол, доктор. На академических шпагах… Французская академия против Академии моральных и политических наук.

Гомес улыбнулся, пристроив мешок между ногами.

- Я не знал… Я подготовился к серьезному делу.

- Нужно будет все это выложить, чтобы произвести впечатление на противника, - промолвил Ведрин своим обычным, спокойным тоном.

Гомес прищурился, видимо смущенный присутствием двух секундантов, неизвестных на парижских бульварах. Поль Астье относился к доктору как к слуге и даже не соизволил их познакомить.

Когда ландо тронулось с места, во втором этаже отворилось окно “отдельного кабинета”, и в нем показалась любопытная парочка: высокая хрупкая девушка с светло-голубыми, цвета льна, глазами, в корсете, с обнаженными руками, прикрывшись салфеткой, которая, однако, не закрывала груди и плеч, и бородатый уродец, настоящий балаганный карлик. Снизу была видна только его напомаженная, едва возвышавшаяся над подоконником голова и несоразмерно большая рука, охватившая, словно щупальцами, склонившийся стан Марии Донваль, инженю театра Жимназ.

Доктор узнал ее и назвал по имени.

- С кем это она?

Его спутники оглянулись, но женщина исчезла - у окна осталась только длинная голова горбуна, будто срезанная и посаженная на край подоконника.

- Скажите на милость! Да это дядюшка Фаж!..

Ведрин махнул ему рукой, потешаясь возмущением Фрейде.

- А что я тебе говорил?.. Самые хорошенькие девочки Парижа…

- Какая мерзость!

- Вас это удивляет, господин де Фрейде?

Поль Астье подверг женщин злобной критике… Это испорченные дети, со всеми извращениями и недостатками детей, с природными склонностями к обману и лжи, заносчивости и трусости… Кроме того, женщины жадны, тщеславны и любопытны! Болтают бойко и самоуверенно, но ни одной мысли в голове. В споре юлят, вертятся, скользят, точно ходят в потемках по льду… Разве можно о чем-нибудь поговорить с женщиной?.. У женщины ничего нет - ни доброты, ни жалости, ни ума, даже чувственности. Изменяет мужу с любовником, которого тоже не любит, пуще всего боится стать матерью, только один ее любовный возглас не лжет: “Будь осторожен!” Вот какова современная женщина… За фасон шляпки, за новое платье от Шприхта она способна украсть, готова на всякую низость, потому что, в сущности, любит только наряды!.. Чтобы представить себе, до какой степени женщины влюблены в наряды, нужно сопровождать, как это ему неоднократно приходилось, светских дам - самых шикарных, самых знатных - к знаменитому портному… Они дружат со старшими мастерицами, приглашают их на завтрак к себе в замок, благоговеют перед старым Шприхтом, как перед папой римским… Маркиза де Рока-Нова привозила к нему своих дочек - не хватало только, чтобы она попросила его благословить их.

- Совершенно верно, - подтвердил доктор, автоматически кивая головой, как человек на жалованье, у которого вывихнута шея от постоянного одобрения.

После неожиданной, прервавшей мирное течение беседы, резкой и необъяснимой выходки молодого человека, обычно такого холодного и

сдержанного, наступило недоуменное, неловкое молчание. Солнце невыносимо пекло, накаляя сложенные из камня стены, окаймлявшие крутую дорогу, по которой с трудом тащились лошади; гравий скрипел под колесами.

- Как милосердна и сострадательна может быть женщина - этому я был свидетелем… - Ведрин заговорил, откинув голову, убаюканный движением экипажа, полузакрыв глаза, словно видя то, что недоступно другим… - Не у знаменитого портного, нет! В городской больнице, в отделении Бушеро… Заново оштукатуренная конура, железная кровать в беспорядке, одеяла сброшены на пол, и на ней безумец в предсмертном припадке, голый, покрытый потом, с пеной у рта, в страшных судорогах, извивается, как клоун в цирке, корчится и воет так, что по всему больничному двору слышно. У его изголовья две молодые женщины по обе стороны кровати: монахиня и совсем юная студентка, слушательница Бушеро… Обе наклонились без отвращения и страха к несчастному, к которому никто не решается подойти; они отирают ему лоб и губы, выступивший от страданий пот и пену, которая его душит… Монахиня все время-читает молитву, студентка не молится, но у обеих глаза светятся той же любовью, и с одинаковой нежностью их маленькие мужественные ручки стирают слюну чуть ли не во рту у страдальца. И в них обеих, не знающих усталости, в их героической, чисто материнской самоотверженности чувствовалось столько женственного! Вот настоящие женщины!.. Хотелось пасть перед ними на колени и рыдать.

- Спасибо, Ведрин! - прошептал Фрейде; он задыхался от волнения, думая о своей милой сестре.

Доктор хотел было опять кивнуть головой: “Совершенно верно…”, но Поль Астье нервно и сухо остановил его:

- Ну, понятно, сиделки, я не спорю… Сами хворые, они обожают ходить за больными, перевязывать, натирать, греть простыни, подносить тазы… К тому же их увлекает власть над страждущими, измученными болезнью…

Голос у него становился пронзительным, как у матери, в его холодных глазах сверкал злой огонек, удививший его спутников, которые невольно подумали: “Что с ним такое?” У доктора явилась вполне обоснованная мысль: “Сколько там ни толкуй об уколах и академических шпагах, а я бы

не хотел быть на месте князя”.

- Что касается материнского инстинкта женщины, - усмехнулся Поль Астье, - я мог бы в соответствии с картиной, нарисованной нашим другом, указать на госпожу Эвиза - беременная на восьмом месяце, она разозлилась на своего мужа-банкира за то, что он отказался купить ей какой-то драгоценный убор, била себя изо всех сил кулаками по животу и, наталкиваясь на мебель, старалась больнее ударить свой плод: “Вот тебе твой ребенок, подлец! Вот тебе твой ребенок!” А как пример стыдливости и супружеской верности можно привести случай с миленькой вдовушкой, которая в склепе, на надгробной плите покойного…

- Да ведь ты об эфесской матроне (*37) нам рассказываешь, - перебил его Ведрин.

И под тряску экипажа разгорелся спор, вековечный спор между мужчинами о женщине и о любви.

- Внимание, господа! - крикнул доктор; он, сидя спиной к кучеру, увидел два экипажа, быстро поднимавшиеся в гору вслед за ними.

Впереди, в открытой коляске, находились секунданты князя. Гомес, приподнявшись, вполголоса, с большим подобострастием назвал их имена:

- Маркиз д’Юрбен… Генерал де Боннейль, из Жокей-клуба… Вот это я понимаю! И мой коллега Обуй.

Тоже в своем роде неудачником был этот доктор Обуй, но только с орденом в петлице, потому и гонорар его доходил до ста франков. За коляской следовала собственная карета князя, в которой скрывался вместе со своим неизменным Лаво сам д’Атис, весьма раздосадованный всем этим делом. В продолжение пяти минут три экипажа поднимались в гору, один за другим, вереницей, как на свадьбе или на похоронах, слышался лишь стук колес, тяжелое дыхание и фырканье лошадей, потряхивавших удилами.

- Обгоните, - прогнусавил чей-то высокомерный голос.

- Вот и прекрасно, - сказал Поль, - пусть они приготовят нам расквартировку.

На узкой дороге экипажи чуть не задели друг друга колесами, секунданты обменялись поклонами, врачи - улыбками соучастников. Потом ландо Поля Астье обогнала карета, в которой за зеркальными стеклами, поднятыми, несмотря на жару, виднелось угрюмое, неподвижное лицо, бледное, как у мертвеца.

”Едва ли он будет бледнее через час, когда его повезут обратно с проколотым боком…” - думал Поль. Мысленно он прекрасно рассчитал удар: секундная финта, потом прямо вглубь, между третьим и четвертым ребром.

На пригорке стало прохладнее, воздух был напоен ароматом, цвели липы, акации, первые розы, за низкими оградами парков волнами расстилались широкие лужайки, на которые ложились узорчатые тени деревьев. В тиши полей прозвенел колокольчик у какой-то калитки.

- Приехали, - объявил доктор Гомес, хорошо знавший эту местность. Здесь находился бывший конский завод маркиза д’Юрбена, распродававшийся два года кряду. Лошадей отсюда увезли, осталось только несколько молоденьких кобыл, скакавших по лугу, отделенному высокой изгородью.

Дуэль должна была состояться на большой площадке, в самом низу участка, перед белой каменной конюшней - туда пришлось добираться по спускавшимся вниз тропинкам, заросшим травой и мхом. Оба отряда шли вместе, молча, соблюдая все правила приличия. Один только Ведрин, не выносивший светских условностей, к великому огорчению Фрейде, выглядевшего особенно торжественно в своем туго накрахмаленном воротничке, то восторгался: “Смотрите, вот ландыш!..” - то срывал с ветки листок. Пораженный неподвижным величием природы, столь не соответствовавшим нелепой людской суете, глядя на густой лес, покрывавший склоны горы, на прекрасные дали, тонувшие в синеватой мгле жаркого дня, на сгрудившиеся крыши и сверкавшую да солнце реку, он твердил, машинально указывая на горизонт; “Какая красота! Какая тишина!” - не оборачиваясь и не видя, кто шел следом за ним, поскрипывая изящными ботинками.

О, каким презрением был обдан неучтивый Ведрин, а заодно и пейзаж, и само небо, ибо князь д’Атис был на это мастер, - он умел презирать, как

никто! Он презирал взглядом, тем знаменитым взглядом, блеск которого не мог выдержать Бисмарк; презирал своим большим, лошадиным носом, ртом с опущенными углами; презирал, сам не зная за что, ничего не говоря, не слушая, не читая и не понимая. Вся его дипломатическая карьера, успех у женщин и в свете - все пришло к нему благодаря этому всепоглощающему презрению. Но, в сущности, этот Сами был пустым бубенцом, марионеткой, - умная женщина из сострадания вытащила его из мусорного ящика, в который бросают устричные раковины в ночных ресторанах, поставила на ноги, подняла на огромную высоту, нашептывая ему, что следует говорить и - что еще важнее - о чем следует умолчать, подсказывая каждое движение, каждый шаг до тех пор, пока, почувствовав себя на коне, он не отшвырнул ногой скамейку, ставшую ему ненужной. Свет обычно весьма одобряет подобного рода поступки. Иного мнения держался Ведрин. Ему пришли на память сказанные о Талейране слова “шелковый чулок, набитый грязью” (*38), когда он смотрел вслед величественно опередившему его, надменному, достойному всяческих похвал почтенному господину. Герцогиня, несомненно, умная женщина, если она, желая скрыть ничтожество своего любовника, сделала его дипломатом и академиком, нарядив его таким образом в два домино официального карнавала, одетые одно на другое, оба одинаково потрепанные, но сохранившие обаяние, перед которым по старой памяти продолжает преклоняться общество. Но как могла она полюбить этого опустошенного человека, этого бездушного шута, Ведрин не понимал. За княжеский титул? Она сама не менее знатного рода. За английский шик, за сюртук, плотно облегающий спину висельника, за брюки цвета лошадиного помета, особенно уродливые среди зеленой листвы? Пожалуй, прав был этот мерзавец Поль Астье, издеваясь над тяготением женщин ко всему низменному, к уродству моральному и физическому!

Князь подошел к доходившей ему до пояса изгороди, которая отделяла тропинку от лужайки, и, потому ли, что он не понадеялся на свои расслабленные ноги, потому ли, что перешагнуть ее считал недостойным столь важной особы, остановился в нерешительности. Особенно смущал его этот высоченного роста художник, присутствие которого он чувствовал за спиной. Наконец д’Атис решился сделать крюк, дойти до калитки. А Ведрин прищурил свои и без того маленькие глазки.

”Ступай, ступай, голубчик, - думал он, - выбирай хоть самую длинную дорогу, все равно придется дойти до конюшни. Кто знает, может быть, там

тебя и ждет справедливая кара за все твои мерзости… Потому что в конце концов всегда наступает расплата…”

Успокоенный такими рассуждениями, художник, даже не коснувшись рукою плетня, одним прыжком перемахнул через него без всякой претензии на благовоспитанность и присоединился к группе секундантов, занятых бросанием жребия относительно места и шпаг. Глядя, как они, нагнувшись с серьезными и важными лицами, следят за падением монеты, как кидаются поднять ее, чтобы определить, орел это или решка, можно было бы принять их за школьников на перемене, но только морщинистых и с пробивающейся сединой. В то время как обсуждался вопрос о каком-то внушавшем сомнение ударе, Ведрин услышал, что его тихонько зовет Астье, переодевшийся за домиком и с полным хладнокровием опорожнявший свои карманы.

- Что там городит этот генерал?.. Он, кажется, намерен держать свою трость наготове, чтобы предотвратить несчастье!.. Я не хочу этого, понимаешь?.. Мы ведь не новички, оба мы люди бывалые, тренированные…

Астье шутил, но, сказав это, он плотно сжал губы, лицо приняло свирепое выражение.

- Стало быть, дело серьезное? - спросил Ведрин, глядя на него в упор.

- Как нельзя более серьезное.

- Странно! Я так и думал.

Скульптор подошел к генералу, командиру кавалерийской бригады, воинственному от пят до торчавших, как у фавна, ушей, которые по яркости цвета могли поспорить только с ушами Фрейде. От заявления скульптора они еще больше побагровели, - казалось, вот-вот из них брызнет кровь.

- Согласны, м-ст-вый г-с-дарь! Отлично, м-ст-вый г-с-дарь!

Слова хлестали, как удары бича. Слышал ли их Сами, которому доктор Обуй помогал засучить рукава рубашки? Или на него повлияло появление стройного, ловкого, как кошка, сильного молодого человека, который,

обнажив круглую шею и руки, шел ему навстречу, устремив на него беспощадный взгляд? Как бы то ни было, приехав сюда ради соблюдения светских приличий, без тени беспокойства, как приезжает на дуэль дворянин, который уже не раз участвовал в Подобного рода делах и знает, что значат в таких случаях два дельных секунданта, он сразу изменился, стал землистого цвета, нижняя челюсть под бессильно свисавшей бородой начала у него дрожать, лицо исказилось отвратительной гримасой страха. Тем не менее он овладел собой и довольно храбро стал в позицию.

- Господа, начинайте!

Да, за все бывает расплата. Он ощутил это всем своим существом перед направленным на него неумолимым острием, которое еще издали искало его и, казалось, щадило в первую минуту, чтобы тем вернее нанести удар. Его собирались убить… В этом не было сомнений. Вытянув длинную, худую руку, отступая под звяканье шпажных чашек, он впервые почувствовал угрызения совести, что так подло бросил свою любовницу, ту, которая вытащила его из грязи и вновь ввела в свет. Ему представилось также, что справедливый гнев этой женщины и вызвал эту грозящую ему сейчас, настигающую его опасность, которая словно взбаламутила все кругом, так что само небо, раскинувшееся над его головой, стало вращаться и отступать в каком-то фантастическом освещении. Он видел встревоженные лица секундантов и врачей, даже растерянные жесты двух конюхов, размахивавших фуражками, чтобы отогнать прыгавших лошадей, которым тоже хотелось посмотреть. Вдруг послышались громкие, резкие голоса:

- Довольно!.. Довольно!.. Остановитесь!..

Что случилось? Опасность уже далеко, небо снова стало неподвижно, все приняло обычное положение и окраску. Только у его ног, на истоптанной, взрытой земле, большая лужа крови, от которой почернел желтый песок, и в ней лежит распростертый Поль Астье с проткнутой насквозь шеей, заколотый, как боров. В безмолвии оцепенения, вызванного катастрофой, на лужайке продолжают чуть слышно жужжать насекомые, а лошади, оставленные без присмотра, сгрудились в отдалении и любопытно тянутся мордами к неподвижному телу побежденного.

А ведь Поль мастерски владел шпагой. Под его пальцами, как бы

слившимися с эфесом, клинок победно сверкал, взметался, спускался стремглав, со свистом рассекая воздух, и устремлялся вперед, тогда как у того, кто стоял против него, рука беспомощно и трусливо махала шпагой, как вертелом. Как же это могло получиться? Секунданты скажут, за ними сегодня вечером повторят газеты, а завтра и весь Париж, что Поль Астье, делая выпад, поскользнулся и сам наткнулся на шпагу! Все это будет разъяснено обстоятельно и точно. Но когда дело касается решающих событий человеческой жизни, разве точность наших слов не находится в противоречии с нашим внутренним убеждением? Даже для тех, кто был очевидцем, для самих участников дуэли навсегда останется неясной, покрытой туманом та критическая минута, когда вмешалась судьба и вопреки ожиданиям, наперекор логике нанесла последний удар, прикрывшись темным облачком, всегда окутывающим исход героических сражений.

Перенесенный в квартирку конюха, примыкавшую к конюшне, Поль Астье, лежа на железной кровати, раскрыл глаза после длительного обморока и прежде всего заметил литографию наследного принца, висевшую на стене над комодом, на котором были разложены хирургические инструменты. Придя в себя при виде предметов внешнего мира, Поль посмотрел на это жалкое, грустное лицо с тусклыми глазами, выцветшие от сырости стены, и несчастная участь этого юноши опечалила его как дурное предзнаменование. Но его душе, сотканной из честолюбия и хитрости, не чужда была смелость. С трудом подняв туго забинтованную голову, он спросил изменившимся, слабым, но все таким же насмешливым голосом:

- Рана или укол, доктор?

Гомес, свертывая пропитанную карболкой марлю, сделал ему знак молчать:

- Укол, счастливчик вы этакий… Самой малости недоставало… Мы с Обуй думали, что задета сонная артерия…

Щеки, молодого человека слегка порозовели, глаза заблестели. Как хорошо жить! В нем тотчас же проснулось честолюбие, он захотел узнать, долго ли ему придется пролежать в постели и когда он поправится окончательно.

Недели три - месяц, так сказал доктор, отвечавший небрежно, с оттенком забавного презрения, но, в сущности, раздосадованный, задетый за живое неудачей своего пациента.

Поль, уставясь в стену, размышлял. Д'Атис уедет, Колетта выйдет замуж прежде, чем ему удастся выздороветь… Значит, сорвалось, нужно подыскивать что-нибудь другое!

Дверь распахнулась, и в каморку широкой волной хлынул свет. О, жизнь! О, яркое солнце!.. Ведрин, войдя с Фрейде, приблизился к кровати и радостно протянул Полю руку:

- Ну и напугал же ты нас!

Он любил этого стервеца, он дорожил им, как произведением искусства.

- Да, очень напугал, - подтвердил виконт, вытирая лоб и чувствуя огромное облегчение.

Он только что видел свое избрание, свои надежды на академическое кресло лежащими на земле в крови. Никогда старик Астье не стал бы оказывать содействие человеку, причастному к такой катастрофе! Фрейде был добряк, но навязчивая мысль об Академии намагничивала его, как стрелку компасам сколько его ни трясти, сколько ни поворачивать, он неизменно возвращался к академическому полюсу. И меж тем как раненый улыбался друзьям, слегка, однако, смущенный тем, что он, такой ловкий, такой сильный, лежит в постели и не может пошевельнуться, Фрейде не переставал восторгаться учтивостью секундантов, с которыми сразу удалось договориться относительно протокола поединка, учтивостью доктора Обуй, предложившего остаться со своим коллегой, наконец, учтивостью самого князя, уехавшего в коляске и предоставившего Полю Астье, чтобы отвезти его домой, свою карету, очень покойную, в одну лошадь, которая сможет подъехать к домику конюха. О, все это было так учтиво!

- Ну и надоел же он со своей учтивостью, - сказал Ведрин, подметив гримасу на лице Поля, которой тот не мог скрыть.

- Однако как все это странно!.. - прошептал молодой человек чуть слышно, словно в раздумье.

Итак, за стеклом медленно возвращающейся кареты, рядом с доктором, все увидят его бледное, окровавленное лицо, а не лицо того, другого. Да, удар был неудачный!.. Вдруг он приподнялся, несмотря на увещевания врача, и быстро, дрожащей рукой написал карандашом на своей визитной карточке: “Судьба так же коварна, как и люди. Я хотел отомстить за Вас - и не смог… Простите…” Затем подписался, перечитал, подумал, снова перечел, вложил в дешевенький конверт с цветочками из деревенской мелочной лавочки, отысканный в пыли комода, написал на нем; “Герцогине Падовани” - и попросил Фрейде как можно скорее лично передать письмо.

- Ровно через час будет доставлено, дорогой Поль.

Поль жестом поблагодарил своих друзей, простился с ними, потом вытянулся, закрыл глаза и пролежал молча, без движения, до самого отъезда, прислушиваясь к раздававшемуся на залитой солнцем лужайке неумолчному тихому жужжанию насекомых, которое он воспринимал как начало лихорадки, и сквозь опущенные ресницы ему представлялось, как развернется новая интрига, столь отличная от прежней, чудесным образом, экспромтом явившаяся его воображению тут, пока он, поверженный, еще лежит на кровати конюха.

Но был ли это экспромт? Молодой честолюбец мог сам в этом ошибиться. Побудительный мотив часто ускользает от нас, затерянный, сокрытый среди того, что нас тревожит в критические минуты, подобно тому как растворяется в толпе вожак, который взбудоражил ее. Человеческое существо - это толпа. Такой же многогранный и сложный, как и она, человек поддается безотчетным порывам, но вожак тут же, сзади, и сколь неожиданными, ничем не обусловленными ни кажутся нам наши поступки, они, как и действия уличной толпы, всегда подготовляются заранее. С того самого вечера, когда Лаво на балконе особняка Падовани обратил внимание папского гвардейца на герцогиню, у Поля зародилась мысль, что в случае неудачи с г-жой Розен остается прекрасная Антония. Он подумал об этом еще третьего дня в театре, увидев графа Адриани в ложе герцогини, но не задержался на этой мысли, потому что все его усилия были направлены в другую сторону и он верил еще в возможность победы. Теперь же, когда он потерпел полное поражение, его первой мыслью с возвратом к жизни была герцогиня. Итак, почти неведомо для него самого, это решение, казавшееся ему внезапным, уже издавна,

медленно и тайно зрело в нем.

”Я хотел отомстить за Вас - и не смог…”

Несомненно, добрая, пылкая и мстительная, какой он ее знал, герцогиня Падовани, которую ее соотечественники - корсиканцы называли Мари-Анто, завтра утром будет у его изголовья. И от него самого теперь уже зависит удержать ее навсегда.

Возвращаясь вдвоем в ландо, опередившем карету Сами, двигавшуюся медленно, чтобы не потревожить раненого, Ведрин и Фрейде философствовали перед пустым сиденьем, где в саржевом футляре лежали шпаги, которыми противники пользовались на дуэли.

- Присмирели небось, голубчики, а ведь не то было, когда ехали туда, - сказал Ведрин, пнув их сапогом.

Фрейде задумчиво произнес:

- И дрался-то он на своих шпагах. - Снова став торжественным и сдержанным, как подобает секунданту, он добавил: - Все преимущества были на нашей стороне - и место и шпаги… К тому же и фехтовальщик он первоклассный… Действительно, странно, как сказал Поль…

На минуту они примолкли, залюбовавшись красотой освещенной закатом реки, горевшей иззелена-золотистым багрянцем.

Миновав мост, лошади рысью понеслись по Булонской улице.

- В сущности говоря, - продолжал Ведрин так, словно их беседа не была прервана долгим молчанием, - при всех его кажущихся успехах молодой человек все-таки неудачник. Я несколько раз наблюдал его в схватках с жизнью, когда ему приходилось пускать в ход все свои возможности при обстоятельствах, которые служат как бы пробным камнем” позволяющим судить о судьбе человека. И что же? Как он ни хитрит, как ни рассчитывает, как ни обдумывает все детали, наилучшим образом смешивая краски на палитре, в последнюю минуту что-то дает трещину и, не сломив его вконец, все же препятствует достижению намеченной

цели… Почему? Может быть, только потому, что у него слегка искривлен нос… Уверяю тебя, что такие отклонения почти всегда служат признаком внутренней фальши, не совсем прямого пути. Незадачливый игрок!

Мысль эта позабавила их. Продолжая говорить об удаче и неудаче, Ведрин рассказал об одном странном случае, происшедшем чуть не на его глазах, когда он был на Корсике у герцогов Падовани. Жил он в Барбикалья на берегу моря, как раз против маяка на Сангинерских островах. На этом маяке был старый смотритель, отличный служака, которому уже недолго оставалось до выхода на пенсию. Однажды ночью во время дежурства старик заснул; он продремал ровно пять минут, ни одной минуты больше, остановив, однако, своей вытянутой ногой движение сигнального фонаря с вращающимся огнем, который должен был ежеминутно менять свой цвет. В ту же минуту, в ту же ночь главный инспектор, совершающий раз в год объезд, проходил на вестовом судне мимо Сангинерских островов; он удивился неподвижности сигнального света, приказал остановиться, стал следить, удостоверился, и на следующий день дозорная шлюпка доставила на остров нового смотрителя вместе с распоряжением о немедленном увольнении несчастного старика.

- Мне кажется, - заметил Ведрин, - что такое совпадение во времени и пространстве случайного взгляда инспектора и краткого сна старика - действительно редкий пример неудачи.

Когда они подъезжали к площади Согласия, художник широким, спокойным жестом указал на раскинувшееся над ними темно-зеленое небо, на котором в мерцании угасавшего чудесного дня загорались звезды.

Спустя несколько минут ландо въехало на короткую и уже темную улицу Пуатье и остановилось перед высокими, украшенными гербом воротами особняка Падовани. Жалюзи были спущены, только щебет птиц доносился из сада. Герцогиня уехала в Муссо на все лето. Фрейде колебался, держа в руках большой конверт. Думая, что он предстанет перед прекрасной Антонией, он приготовился сделать трогательное описание дуэли, ввернуть, быть может, словечко о своей кандидатуре на ближайших выборах и теперь не знал, передать ли письмо слуге или же лично отвезти его герцогине через три-четыре дня, как только он возвратится в Кло-Жалланж. В конце концов он оставил письмо привратнику и, садясь снова в экипаж, сказал:

- Бедняга!.. Он уверял, что это крайне спешно.

- Ну, понятно, - заговорил Ведрин, в то время как ландо катило по набережным, испещренным симметрично расположенными желтыми огоньками, к условленному месту, где должно было состояться составление протокола поединка. - Ну, понятно… Я не знаю содержания этого письма, но, судя по тому, что он написал его в такую минуту… Надо полагать, это какой-нибудь мастерский ход, что-то чрезвычайно искусное и тонкое… А вот поди ж ты… Крайне спешно, а герцогиня-то в отъезде!

С серьезным видом, теребя пальцами кончик носа, он добавил:

- Вот как обстоят дела, друг мой.

11

Удар шпаги, от которого чуть не умер сын, заставил супругов Астье позабыть семейные раздоры. Потрясенный до глубины своего родительского сердца, Леонар расчувствовался и простил. А так как в течение трех недель г-жа Астье не отходила от постели Поля, забегая на Бонскую только чтобы взять белье или переменить платье, то устранялась опасность слышать косвенные, вскользь брошенные намеки, способные возобновить ссору между людьми, живущими вдвоем, даже после взаимного прощения и водворения мира. Потом, когда Поль выздоровел и уехал в Муссо, куда его настойчиво призывала герцогиня, окончательному примирению идеальной академической четы - по крайней мере, приведению ее к обычной, ровной температуре “холодных парников” - способствовали переезд супругов Астье во дворец Мазарини, вступление мэтра в должность и водворение в квартиру покойного Луазильона, вдова которого, назначенная директрисой Экуэнского института, своим поспешным отъездом дала возможность новому непременному секретарю перебраться туда чуть ли не на следующий день после его избрания.

Для устройства на новой квартире, так долго служившей предметом зависти, ожидания, чаяний и надежд, где известен был каждый закоулок, все удобства для жильцов, времени потребовалось немного. Глядя, с какой точностью здесь размещалась мебель с Бонской, можно было подумать, что вещи возвращаются с дачи и сами становятся, как бы врастая, на свои места по оставленным ими следам на полу и стенах. Не было произведено никаких улучшений. Только немного привели в порядок спальню Луазильона, в которой тот умер, да оклеили новыми обоями бывшую гостиную Вильмена, превращенную Леонаром в кабинет, чтобы иметь для работы спокойную комнату, выходящую на залитый светом двор; к кабинету примыкало небольшое помещение, высокое и светлое, его отвели для автографов, перевезенных в три приема на фиакре с помощью переплетчика Фажа.

Каждое утро приносило историку новую усладу. Его “архив” был почти так же удобен, как в министерстве иностранных дел. Он входил туда, не сгибаясь, не карабкаясь по лестнице, не то что в собачью конуру на

Бонской; об этой конуре он вспоминал теперь со злобой и отвращением, с той упорной, беспощадной злобой, с какой человек обычно относится к месту, где он страдал. Примирение возможно с живыми людьми, способными меняться, принимать то один, то другой облик, но по отношению к вещам, сохраняющим свою каменную неподвижность, это немыслимо. В радостном чаду переезда Астье-Рею позабыл свой гнев, вину жены, даже неприязнь к Тейседру, который, как и прежде, должен был являться в среду утром. Но стоило ему подумать о клетке на антресолях, куда еще так недавно его загоняли раз в неделю, как историк начинал скрежетать зубами, нижняя челюсть у него выступала вперед, и он снова превращался в Крокодила.

Но каков был этот Тейседр! Честь натирать полы во Французской академии, во дворце Мазарини, не производила на него никакого впечатления; он относился к этому с непостижимым равнодушием и продолжал с тем же спокойным высокомерием уроженца Риома взирать на простого “Шованья” и бесцеремонно толкать стол непременного секретаря, заваленный бумагами и бесчисленными докладами. Астье-Рею, не сознаваясь в том, был смущен этим подавлявшим его презрением и порой пытался разъяснить деревенщине величие того места, где он орудовал своим восковым кругом.

- Тейседр! - обратился он однажды к полотеру. - Здесь когда-то была гостиная великого Вильмена… Обращаю на это ваше внимание.

И тут же, чтобы смягчить гордого овернца, он малодушно приказал Корантине:

- Принесите стаканчик вина этому славному малому.

Изумленная Корантина принесла вино, и полотер, с широко раскрытыми сияющими глазами, выпил его залпом, опершись на свою щетку, потом, обтерев обшлагом рот, поставил на поднос пустой стакан, на котором остался след от его жадных губ.

- Что там ни говори, гошподин Аштье, нет ничего лучше на швете, чем штаканчик холодненького винца.

В его голосе звучало такое непоколебимое убеждение, бородавки на его лице излучали столько блаженства, что непременному секретарю осталось

только удалиться в свой “архив”, громко хлопнув дверью. В конце концов не стоило выбиваться из сил, подниматься из ничтожества на такую высоту, на вершину литературной славы, становиться историком Орлеанского дома, главной пружиной Французской академии, если не меньшее счастье может доставить этому неучу стакан холодного вина. Услыхав, однако, как через минуту полотер, посмеиваясь, говорил Корантине, что “плевать ему на бывшую гостиную Вильмена”, Леонар Астье пожал плечами, и зависть его исчезла перед лицом подобного невежества, уступив место глубокой благодушной жалости.

А г-же Астье, выросшей и воспитанной во дворце Мазарини, связанной воспоминаниями детства с каждой плитой на дворе, с каждой ступенькой почтенной и пыльной лестницы Б, казалось, что после долгого отсутствия она наконец вернулась домой. Неизмеримо больше, чем ее муж, могла она оценить материальные преимущества их настоящего положения: не надо было больше платить за квартиру, за отопление и освещение - большая экономия во время зимних приемов! - не говоря уже об увеличенном окладе, знакомствах в высшем свете, влиятельных связях, столь нужных ее сыну в погоне за заказами. Восхваляя в прежнее время прелести своей квартиры, г-жа Луазильон всегда с пафосом присовокупляла: “Я принимала в ней даже царствующих особ…” “Без сомнения, но только в “известном месте”, - ехидно поясняла милейшая Аделаида, вытягивая свою длинную шею. Действительно, в дни торжественных заседаний, томительных и бесконечно долгих, нередко случалось, что по окончании их какая-нибудь путешествующая принцесса крови или светская дама, пользовавшаяся влиянием в министерских кругах, наносила жене непременного секретаря не совсем бескорыстный визит. Именно такого рода гостеприимству обязана была г-жа Луазильон получением теперь поста директрисы, а г-жа Астье, разумеется, не хуже своей предшественницы сумеет воспользоваться “известным местом”. Только ссора с герцогиней, помешавшая г-же Астье последовать за Полем в Муссо, омрачала ей торжество. Но тут весьма кстати подоспело приглашение из Кло-Жалланжа, расположенного по соседству с замком герцогини, что давало Аделаиде возможность быть неподалеку от сына, и она надеялась мало-помалу снова войти в милость к прекрасной Антонии, к которой она почувствовала прилив нежности за ее доброту к Полю.

Леонара задерживали в Париже служба и дела Луазильона, сильно запущенные за последние месяцы, и он согласился на отъезд жены,

пообещав приехать на несколько дней к их друзьям Фрейде, но в глубине души твердо решив не покидать дорогой его сердцу Академии. Там так хорошо, так покойно! Два заседания в неделю - причем Леонару надо было только перейти двор, - летние заседания, происходившие запросто, по-семейному, на которых дремали пять-шесть “жетонщиков” под нагретым солнцем стеклянным куполом. В остальные дни недели - полнейшая свобода. Трудолюбивый старец пользовался досугом, чтобы выправить корректуру своего наконец дописанного “Галилея”, который должен был выйти в свет к началу осени. Леонар полол сорную траву, подчищал, следил за тем, чтобы там не оставалось чего-нибудь такого, чтобы ничего такого не осталось, а кроме того, готовил к печати второе издание “Орлеанского дома”, обогащенное новыми, еще не изданными материалами, вдвойне увеличивавшими ценность исследования. Мир дряхлеет. История - это память человечества, и, как таковая, она подвержена всем недугам, страдает пробелами, слабеет, а потому должна всегда и неизменно опираться на подлинные, оригинальные документы, обновляться, обращаться к первоисточникам во избежание ошибок и пустозвонства. Какую гордость, какой сладостный трепет испытывал поэтому Астье-Рею, перечитывая в знойные августовские дни эту столь достоверную, столь оригинальную документацию, прежде чем отослать издателю Пти-Секару драгоценные страницы вместе с заглавным листом, на котором впервые красовалось под его фамилией: “Непременный секретарь Французской академии”! Его глаз еще не привык к этому званию, и оно всякий раз ослепляло его, как и сверкавший белизною на солнце перед его окнами двор, огромный второй двор Академии, величественный и безмолвный, лишь изредка оглашаемый щебетанием ласточек и чириканьем воробьев и казавшийся еще более внушительным благодаря бронзовому бюсту Минервы и десяти колоннам, возвышавшимся вдоль задней стены, над которой поднималась гигантская труба Монетного двора, расположенного по соседству.

Около четырех часов, когда тень от бюста богини в шлеме начинала заметно удлиняться, по плитам двора раздавались беспокойные, быстрые шаги старого Жана Рею. Он жил над квартирой четы Астье и ежедневно в определенный час выходил на большую прогулку, сопровождаемый - правда, на значительном расстоянии - слугой, опираться на руку которого он упорно отказывался. Летом, очень жарким в этом году, он еще хуже стал слышать, еще более замкнулся в себе, умственные способности его ослабели, особенно память, которой уже больше не могли помочь булавки,

вколотые в отвороты его сюртука. Он путался в своих рассказах, блуждал в своих воспоминаниях, как старый Ливингстон среди болот Центральной Африки, топтался на месте, сбивался, пока кто-нибудь не приходил ему на помощь. Это обижало старика, приводило его в мрачное настроение, он сторонился людей, разговаривал сам с собой во время прогулок, отмечая неожиданной остановкой и кивком головы конец какой-нибудь истории и неизбежно следовавшее затем: “Я сам это видел”. Впрочем, старец все еще держался прямо, и, как и во времена Директории, был столь же склонен к мистификациям и забавлялся тем, что лишал вина и мяса, заставляя следовать самой разнообразной и нелепой диете, толпу глупцов, жаждавших продлить жизнь и осаждавших его письмами, дабы узнать, какому режиму обязан он своим необычайным долголетием. Предписывая одним овощи, молоко или сидр, другим - одни только устрицы, себе он ни в чем не отказывал, изрядно выпивал за обедом, после чего всегда ложился отдыхать, а по вечерам бодрым шагом расхаживал взад и вперед, словно отбывая вахту, над головой Леонара Астье.

Прошли два месяца - август и сентябрь - после переезда непременного секретаря на новую квартиру, два месяца, исполненных счастливого и плодотворного покоя, - таким затишьем в честолюбивых замыслах Леонар Астье, быть может, не наслаждался за всю свою долгую жизнь. Г-жа Астье уведомляла о своем скором возвращении из Кло-Жалланжа. Парижское небо уже серело первыми туманами, академики начали съезжаться, заседания утратили семейный характер, и в бывшей гостиной Вильмена Леонару Астье уже не надо было за работой опускать шторы, защищаясь от палящего солнца на дворе. Однажды после полудня, когда ученый, сидя за столом, писал милейшему своему Фрейде, сообщая ему добрые вести относительно его кандидатуры, старинный надтреснутый колокольчик резко задребезжал в передней. Корантина куда-то отлучилась. Леонар Астье сам пошел отворять и, к величайшему своему удивлению, оказался лицом к лицу с бароном Юшенаром и Босом, архивариусом-палеографом, который, ворвавшись с растерянным видом в кабинет мэтра, вздымая руки к небу и тряся своей рыжей бородкой и всклокоченной головой, прохрипел:

- Документы фальшивые… У меня есть доказательства… Доказательства!..

Астье-Рею, ничего не понимая, смотрел на барона, уставившегося на

карниз, затем, уяснив себе из воплей палеографа, что оспаривается подлинность писем Карла V, проданных г-жой Астье и уступленных Босом Юшенару, свысока улыбнулся и выразил полную готовность выкупить эти три автографа, бесспорность которых ничто не могло поколебать в его глазах.

- Позвольте мне, господин непременный секретарь, обратить ваше внимание.

Говоря это, барон Юшенар неторопливо расстегнул свое пальто цвета мастики и вытащил из большого конверта три письма Карла V, совершенно преображенные, ставшие неузнаваемыми под действием щелочей, сменившие свой дымчатый цвет на ослепительно белый, обнаруживая даже для невооруженного глаза фабричное клеймо, удобочитаемое и явственное, посреди страницы, под подписью короля:

Б.Б.

Ангулем, 1836 г.

- Это химик Дельпеш, наш ученый собрат, из Академии наук…

Объяснения барона неясным гулом отдавались в сознании злополучного Леонара. Он стоял без кровинки в лице, побледнев до кончиков толстых волосатых пальцев, в которых дрожали три автографа.

- Двадцать тысяч франков будут у вас сегодня вечером, господин Бос, - с трудом двигая пересохшими губами, произнес Астье-Рею.

- Господин барон заплатил мне за них двадцать две тысячи, - жалобным тоном возразил Бос.

- Двадцать две тысячи, согласен, - сказал Астье-Рею и нашел в себе силы проводить посетителей. Но в полумраке темной передней он задержал своего коллегу из Академии надписей и стал смиренно молить его ради чести Французской академии не предавать огласке это злополучное дело.

- Охотно, дорогой мэтр, но с условием…

- Говорите, говорите!..

- В ближайшие дни вы получите от меня письмо относительно моей кандидатуры на кресло Луазильона…

Крепкое рукопожатие было ответом непременного секретаря, поручившегося за себя и за своих друзей.

Оставшись один, несчастный рухнул в кресло у заваленного корректурой стола, где лежали развернутыми три подложных письма к Рабле. Он тупо смотрел на них, ничего не понимая, и машинально читал: “Мэтр Рабле! Вы, чей ум столь тонок и проницателен…” Буквы плясали, вихрем кружились перед ним, неясные и расплывшиеся под действием железного купороса в большие пятна, которые на его глазах росли, ширились и готовы были поглотить всю его коллекцию, все его двенадцать тысяч автографов, так как все они, увы, происходили из одного и того же источника… Если эти три документа поддельные… Стало быть, и его “Галилей”, и “Орлеанский дом”, и письмо Екатерины, поднесенное великому князю, и письмо Ротру (*39), которое он публично принес в дар Академии!.. Стало быть… стало быть… Необычайным усилием волн он заставил себя встать. Фаж! Немедленно к Фажу!

Его знакомство с переплетчиком началось несколько лет назад, с того дня, когда маленький человечек явился в архив министерства иностранных дел, чтобы испросить мнение прославленного и ученого директора архива относительно письма Марии Медичи (*40) к папе Урбану VIII, в котором она ходатайствовала за Галилея. Как раз в это время Пти-Секар, издавая серию занимательных исторических повествований под общим заглавием “Школьные досуги”, объявил о предполагаемом выходе в свет “Галилея”, принадлежащего перу академика Астье-Рею. Поэтому, когда на основании своего долголетнего опыта маститый историк определил и удостоверил подлинность манускрипта и когда узнал, что у Фажа имеется также ответ папы Урбана, благодарственное письмо Галилея королеве и другие документы, у него возникла мысль написать серьезный исторический труд вместо предполагавшегося пустячка. Но в то же время у него, как у человека честного, зародились сомнения относительно происхождения этих документов, и он пристально посмотрел на уродца, изучая с таким же

вниманием, как если бы это был автограф, его длинное, мертвенно-бледное лицо с красными моргающими веками, затем, строго щелкнув челюстью, спросил:

- Эти манускрипты принадлежат вам, господин Фаж?

- О нет, дорогой мэтр!

Он, Фаж, являлся только посредником одной особы… одной престарелой девицы знатного происхождения, вынужденной распродавать по частям богатую коллекцию, являющуюся достоянием ее семьи еще со времен Людовика XVI. Он даже не решался взять на себя посредничество, не спросив предварительно мнения известнейшего и беспристрастнейшего ученого; теперь же, заручившись одобрением мэтра, он предполагает обратиться к богатым коллекционерам, к барону Юшенару, например, но тут Астье-Рею прервал его:

- Незачем! Принесите мне все, что относится к Галилею. Я сумею пристроить эти документы.

Люди приходили и садились у маленьких столиков - это были завсегдатаи архивов, охотники покопаться в бумагах и разнюхать что-нибудь новое, похожие на молчаливых, покрытых пылью землекопов, разрывающих катакомбы и пахнущих плесенью, затхлостью, трупами, извлеченными из могил.

- Наверху!.. В моем кабинете… Не здесь, - шепнул архивариус, нагнувшись к огромному уху горбуна, напомаженного, в перчатках, с пробором посредине, удалявшегося с горделивым самодовольством, столь характерным для такого рода калек.

Сущий клад была эта коллекция семейства Мениль-Каз - фамилию старой девы Альбен Фаж сообщил под строжайшим секретом - неисчерпаемый клад автографов XVI и XVII веков, разнообразных и любопытных, являвших прошлое в новом свете, ниспровергавших иногда одним словом, одной датой сложившиеся представления о фактах и людях. Как бы дорого они ни стоили, Леонар Астье не упускал ни одного из этих документов, почти всегда оказывавшихся необходимыми для его работ, которыми он был занят или которые задумывал. И ни тени сомнения не возбуждали в нем рассказы горбуна о непочатых связках автографов,

валявшихся в пыли на чердаке старого особняка в Менильмонтане. Если после некоторых ядовитых намеков “великого собирателя автографов” подозрение и рождалось у историка, то как он мог устоять перед невозмутимостью переплетчика, сидевшего за своим станком или поливавшего салат в тиши зеленого скита, в особенности слушая его объяснения, совершенно правдоподобные, по поводу ошибок или подчисток на иных листах, его рассказы о том, как коллекция семейства Мениль-Каз пострадала от шторма, когда ее перевозили в Англию во времена эмиграции? Успокоенный и довольный, Астье-Рею бодрым шагом проходил через двор, каждый раз унося с собой какое-нибудь новое приобретение, оставляя взамен чек на пятьсот, на тысячу или даже на две тысячи франков, в зависимости от важности исторического документа.

В сущности, какими бы соображениями ни старался он успокоить свою совесть, причиной этой расточительности, о которой никто из окружающих его не подозревал, были не столько научные интересы историка, сколько страсть коллекционера. Как бы ни было темно в чуланчике на Бонской, как бы ни приглушались здесь всякие звуки, человек наблюдательный не мог бы ошибиться; голос, нарочито равнодушный, пересохшие губы, шептавшие: “Покажите-ка…” - алчная дрожь пальцев обличали всепоглощающую страсть, грозившую превратиться в манию, в эгоистическую, жестокую кисту, которая в своем чудовищном развитии захватывает и пожирает всего человека. Астье превращался в классического Гарпагона, свирепого, безжалостного к себе и своим близким, готового кричать о бедности и тащиться на конках, тогда как за два года сто шестьдесят тысяч франков его сбережений тайком от всех перешли в карман горбуна. Чтобы оправдать в глазах г-жи Астье, Корантины и Тейседра частые посещения маленького человечка, академик давал ему переплетать свои дела, приносимые и уносимые для отвода глаз. Между собой они пользовались иносказаниями, условным паролем. Альбен Фаж извещал открытым письмом: “Могу предложить вам интереснейший образчик тиснения на коже, переплет XVI века в полной исправности: очень редкий…”

Леонар Астье колебался: “Благодарю вас, пока не нужно, время терпит…” Снова послание: “Не беспокойтесь, дорогой мэтр. Я предложу в другом месте!” На что академик неуклонно отвечал: “Завтра рано утром… Принесите переплет…” Одно только отравляло его радости коллекционера: необходимость покупать, все время покупать, из боязни, что изумительная

коллекция уйдет к Босу, к Юшенару, к другим любителям. Порой, думая о том дне, когда у него не хватит денег, Леонар приходил в непостижимую ярость и набрасывался на уродца, бесившего его своим безмятежным и самодовольным видом.

- Свыше ста шестидесяти тысяч франков за два года!.. И вы говорите, что она опять нуждается в деньгах!.. Какую же жизнь ведет ваша благородная девица?

В такие минуты он желал смерти старой девы, гибели переплетчика, войны или Коммуны, какой-нибудь социальной катастрофы, которая поглотила бы коллекцию семейства Мениль-Каз вместе с теми, кто так бессовестно на ней наживался.

И вот теперь приближается катастрофа, не та, которой он желал, - судьба не располагает именно тем, чего мы у нее просим, - но неожиданная зловещая развязка, грозящая погубить его труды, его имя, состояние, славу - все, чем он был и что имел. Глядя, как он большими шагами шел по направлению к Счетной палате, мертвенно-бледный, громко разговаривая сам с собой, не отвечая на поклоны, которые прежде различал даже в глубине лавок, книгопродавцы с набережной и торговцы гравюрами не узнавали своего Астье-Рею. Он ничего и никого не видел. Ему казалось, что он держит горбуна за горло, трясет его за щегольской, заколотый булавкой галстук и тычет ему в нос письма Карла V, опозоренные реактивами Дельпеша:

”Ну, что вы скажете на этот раз?”

Дойдя до улицы Лилль, он толкнул дощатую необструганную калитку, проделанную в заборе, окружающем дворец, затем, перешагнув порог, позвонил у решетки, потом еще раз позвонил; он был потрясен мрачным видом здания, лишенного цветов и зелени, настоящих руин, оголенных, обвалившихся, согнутых железных балок, увитых засохшими лианами. Шлепанье стоптанных башмаков послышалось во дворе. Показалась привратница, толстая женщина с метлой в руке; не открывая, она крикнула через решетку:

- Вы к переплетчику? Он у нас больше не живет…

Уехал дядюшка Фаж! Выехал, не оставив адреса. Она теперь убирает его

домишко для того, кто поступает на его место в Счетной палате, а горбун уволился.

Астье-Рею пробормотал из приличия еще несколько слов, но стая черных птиц, спустившаяся во двор, покрыла его голос резкими, зловещими криками, гулко раздававшимися под сводами.

- Ишь ты!.. Вороны с особняка Падовани, - сказала женщина, почтительным жестом указывая на высившиеся напротив, над крышами, платаны с посеревшими ветвями. - Нынче вороны прилетели раньше герцогини. Наверно, зима будет ранняя.

Леонар Астье в ужасе удалился.

12

На другой день после того спектакля, на котором герцогиня Падовани, несмотря на постигший ее удар, пожелала присутствовать с улыбкой на устах, давая женщинам своего круга величайший урок искусства держать себя, она, как всегда в это время года, отбыла в Муссо. С внешней стороны ничто не изменилось в ее жизни. Приглашения, разосланные на лето, не была отменены. Но до прибытия первой партии гостей, в те дни, которые обычно красавица Антония посвящала мельчайшим заботам о размещении и устройстве приглашенных, она, как раненый, затравленный зверь, с утра до вечера металась по своему парку, необозримо раскинувшемуся на холмистых берегах Луары, останавливалась на минуту, изнемогая от усталости, потом снова устремлялась вперед, гонимая душевной мукой.

- Подлец!.. Подлец!.. Негодяй!..

Она бранила отсутствующего, словно он был рядом с ней, словно он шел тем же лихорадочным шагом по змеившимся зеленым аллеям, которые спускались к реке длинными тенистыми зигзагами. Это была уже не герцогиня, не светская дама. Отбросив все условности, став наконец просто женщиной, она вся отдавалась своему отчаянию, быть может, не столь сильному, как ее гнев, потому что громче всего кричала в пей гордость, и слезы, выступавшие на ее ресницах, не катились по щекам, а брызгали и жгли, как раскаленное железо. Отомстить! Отомстить! Она выискивала кровавый способ мести, порой представляла себе, как один из ее егерей - Бертоли или Сальвиатто - всадит изменнику пулю в лоб в день его свадьбы… Или нет! Самой нанести удар, почувствовать радость отмщения, совершенного своей рукой… Она завидовала женщинам из простонародья, подстерегающим мужчину за дверью, чтобы плеснуть ему в лицо серной кислотой и осыпать его при этом отборной бранью. О, почему не знает она этих зазорных слов, приносящих облегчение, не может крикнуть оскорбительнейшее ругательство изменившему ей, презренному возлюбленному, который так и стоит перед ее глазами, каким он явился к ней на последнее свидание, с бегающим взглядом, лживой и натянутой улыбкой! Но даже на местном корсиканском наречии уроженцев Иль-Русса (*41) патрицианка не знала таких бранных слов, и после того, как она

тысячу раз повторяла: “Подлец!.. Подлец!.. Негодяй!..” - ее красивый рот искажался от бессильной злобы.

По вечерам, после одинокого обеда в огромной столовой, обтянутой старинной кожей, которую золотили лучи заходящего солнца, снова начинался бег дикого зверя. Она ходила взад и вперед по висевшей над самой рекой галерее, превосходно реставрированной Полем Астье, украшенной прозрачными, кружевными арками и двумя прелестными, выступавшими вперед башенками. Внизу, подобно озеру, расстилалась Луара, сверкая чистым серебром в меркнувшем свете дня. По направлению к Шомону заросли ивняка перемежались с песчаными косами, образованными ленивым течением реки. Но бедная Мари-Анто не любовалась природой; измученная бесплодными попытками убежать от своего горя, она, облокотясь на перила, смотрела вдаль. Жизнь представлялась ей пустой и разбитой, и это в том возрасте, когда трудно начать ее сызнова! Слабые голоса доносились из ютившихся на откосе неподалеку от замка невысоких домиков, якорная цепь скрипела в ночном прохладном воздухе. Как легко дать волю своему отчаянию, стоит только немного податься вперед!.. Но что скажет свет? Женщина в ее возрасте, в ее положении кончает самоубийством, точно покинутая гризетка!

На третий день пришло письмо от Поля, в газетах появился подробный протокол поединка. Ей стало тепло и радостно на душе. Значит, кто-то еще любит ее, кто-то пожелал ценой своей жизни за нее отомстить. Впрочем, она не приписывала это любви, а лишь признательности молодого человека, помнящего услуги, оказанные ему и его семье, а быть может, и потребности загладить вероломный поступок матери. Благородный, смелый юноша! В Париже она тотчас же бы к нему поехала, но гости извещали уже о своем приезде, и она могла только написать ему и послать своего врача.

С каждым часом прибывали все новые и новые приглашенные, через Блуа или через Онзен, - Муссо находился на одинаковом расстоянии от обеих станций. Двор непрерывно оглашался звонками. Ландо, коляска и два огромных фаэтона подвозили к парадному крыльцу именитых завсегдатаев салона Падовани, академиков и дипломатов: графа и графиню Фодер, обоих Бретиньи, герцога и виконта - секретаря одного из наших посольств, г-на и г-жу Деминьер, философа Ланибуара, приехавшего сюда писать доклад о премиях за добродетель, юного критика, автора статьи о

Шелли, выдвигаемого герцогиней, и Данжу, красавца Данжу, явившегося без жены, которая хотя и получила приглашение, но могла помешать планам, роившимся под завитками его новой накладки. И жизнь в Муссо потекла по примеру прошлых лет. Утром навещали друг друга или работали в комнатах, завтракали, собирались вместе, отдыхали. Потом, когда спадала жара, предпринимали дальние прогулки в экипажах в лес или по реке на лодках, стоявших на причале в конце парка. Закусывали на каком-нибудь островке, отправлялись компанией вытаскивать сети, всегда полные плескавшейся рыбы, - речной сторож накануне такой поездки заботливо наполнял их доверху. По возвращении - переодевание к обеду, всегда чрезвычайно парадному, после которого мужчины, покурив в биллиардной или в галерее, присоединялись к обществу в великолепной гостиной, бывшей когда-то “Залом совета” Екатерины Медичи

(*42).

На шпалерах этой комнаты были изображены во всех подробностях любовные похождения Дидоны (*43) и ее отчаяние при виде удаляющихся троянских галер. Странное, полное иронии совпадение! Его, впрочем, никто не замечал, ибо в светском кругу не уделяют внимания окружающей обстановке, и происходит это не столько от отсутствия наблюдательности, сколько оттого, что каждый постоянно и всецело занят самим собой, интересуется лишь производимым им впечатлением, соблюдением всех правил этикета. А контраст тем не менее был разителен между преисполненным трагизма гневом покинутой царицы с воздетыми к небу руками и глазами, полными слез, какой она была изображена на поблекшей вышивке, и герцогиней, с невозмутимым спокойствием главенствовавшей среди собравшихся, неизменно сохраняя свое превосходство над присутствовавшими здесь женщинами, руководя ими по части туалетов и выбора книг, вмешиваясь в спор Ланибуара с юным критиком, в оживленные дебаты Демипьера и Данжу относительно кандидатур на кресло Луазильона. Если бы князь д’Атис, изменник Сами, о котором все присутствовавшие думали, но никто не говорил, мог видеть прекрасную Антонию, его гордость была бы уязвлена тем, сколь малый след оставило его бегство в жизни этой женщины и в этом царственном замке, полном оживления и шума. На всем его длинном фасаде закрытыми оставались только ставни трех окон в так называемой “половине князя”.

- Она держится как нельзя лучше, - заявил Данжу в первый же вечер.

Маленькая графиня Фодер, снедаемая любопытством, всюду совавшая свой остренький носик, торчавший из вороха кружев, и сентиментальная г-жа Деминьер, приготовившаяся к сетованиям и сердечным излияниям, не могли прийти в себя от такого поразительного мужества. В глубине души они досадовали на прекрасную Антонию, словно она была повинна в "отмене" ожидавшегося с нетерпением спектакля, тогда как мужчинам это спокойствие Ариадны (*44) казалось поощрением к соисканию освободившегося места. Знаменательная перемена произошла в жизни герцогини, изменилось отношение к ней всех или почти всех мужчин, они стали свободнее в обращении, настойчивее стремились ей понравиться, увивались вокруг ее кресла, домогались уже самой женщины, а не ее влияния.

Правда, Мари-Антония никогда еще не была так прекрасна. Когда она в светлом декольтированном летнем платье появилась в столовой, матовая белизна ее лица и плеч озарила весь стол даже в присутствии маркизы де Рока-Нова, приехавшей из своего замка, расположенного по соседству, на другом берегу Луары. Маркиза была моложе, но кто бы мог это подумать, глядя на них! К тому же внезапный отъезд любовника придавал красавице Антонии необъяснимую прелесть, наделял ее какими-то бесовскими чарами. От нее исходила притягательная сила, которая всегда влечет мужчин к только что покинутой женщине. Философ Ланибуар, докладчик о премиях за добродетель, оказался во власти этого таинственного и опасного наваждения. Вдовый, пожилой, с багровыми щеками и меланхолическим выражением лица, он старался пленить владелицу замка своими мужественными спортивными талантами, что не раз доводило его до беды. Однажды во время прогулки на лодке, напрягшись, чтобы повернуть кормовое весло, он упал в Луару. В другой раз, когда он гарцевал верхом на коне у дверец ландо, лошадь так прижала его к колесу, что потом он несколько дней пролежал в постели, обложенный пластырями. Но особенно хорош он бывал в гостиной, когда, по меткому выражению Дашку, "пускался в пляс перед ковчегом" (*45), сгибал и расправлял свое долговязое тело, вызывая на полемическое единоборство юного критика, двадцатитрехлетнего отъявленного пессимиста, которого старый философ подавлял своим непоколебимым оптимизмом. Почтенный академик действительно имел все основания считать, что жизнь хороша, что жизнь прекрасна, - жена его умерла, заразившись крупом у постели

больных детей, скончавшихся в одно время с матерью. Восхваляя земное существование, старик постоянно заканчивал изложение своих доктрин наглядным доказательством их справедливости, указывая льстивым жестом на сильно декольтированный корсаж герцогини: “Можно ли не восхищаться жизнью, глядя на такие плечи!”

Молодой критик ухаживал тоньше, пожалуй, даже с некоторым оттенком коварства. Большой поклонник князя д’Атиса, находясь еще в том юном возрасте, когда поклонение переходит в подражание, он с первых же шагов в свете стал копировать все повадки князя, его походку, манеру держать голову, его сутуловатость, даже загадочную, едва уловимую, полную молчаливого презрения улыбку. Теперь же он подчеркивал это сходство мельчайшими деталями туалета, которые он подметил и по-ребячьи перенял, начиная с галстука, заколотого булавкой под разрезом воротника, и кончая клетчатыми брюками английского покроя. К несчастью, слишком много волос на голове и ни волоска на подбородке! Поэтому все его старания пропадали даром, не пробуждали никаких воспоминаний о прошлом, которые должны были взволновать бывшую любовницу князя, оставшуюся столь же равнодушной к юному критику и его английским клетчатым брюкам, как и к закатыванию глаз Бретиньи-сына и крепким пожатиям руки Бретиньи-отца, когда он вел ее к столу. Однако все это поддерживало вокруг нее приятную атмосферу поклонения и галантности, к которой издавна приучил ее д’Атис, разыгрывавший до изнеможения роль внимательного кавалера, и уязвленная гордость покинутой женщины меньше страдала.

Среди всех этих вздыхателей Данжу держался особой тактики: он забавлял герцогиню театральными сплетнями и смешил ее, а у некоторых женщин это иногда имеет успех. Затем он решил, что красавица уже достаточно подготовлена. И вот однажды утром, когда герцогиня в сопровождении собак совершала одинокую прогулку по парку, эту безостановочную гонку, чтобы развеять свой гнев в лесной чаще, полной щебета пробуждающихся птиц, чтобы смягчить и успокоить его среди росистых лужаек под каплями, падавшими с ветвей, Данжу неожиданно появился на повороте аллеи и отважился на решительный шаг. В белом шерстяном костюме, в высоких сапогах, в берете, с тщательно расчесанной бородой, он искал развязку для трехактной пьесы, заказанной ему к зимнему сезону Французской комедией. Заглавие - “Мишура”, сюжет - из великосветской жизни, очень хлесткий. Написано все, не найдена только

заключительная сцена.

- Ну, так поищем вместе… - весело сказала герцогиня, щелкнув длинным арапником на короткой ручке с серебряным свистком, которым она пользовалась, чтобы сзывать свою свору.

Но Данжу заговорил о любви, о том, как тоскливо ей будет в одиночестве, и предложил себя, без обиняков, цинично, как это ему было свойственно. Герцогиня гордым и нетерпеливым движением откинула голову; она сжимала ручку арапника, готовая хлестнуть наглеца, осмелившегося вести себя с нею, как с фигуранткой за кулисами оперного театра. Но оскорбление, нанесенное ее достоинству, было данью восхищения ее увядающей красоте, поэтому выступивший на щеках герцогини румянец был вызван столько же негодованием, сколько и удовольствием. А Данжу меж тем продолжал настаивать, старался ослепить ее искрящейся речью, силясь представить их сближение скорее союзом умов и общностью интересов, чем делом чувства. Такой мужчина, как он!.. Такая женщина, как она!.. Да они вдвоем завоюют весь мир!

- Благодарю вас, дорогой Данжу. Мне знакомы эти прекрасные рассуждения. Я еще и сейчас плачу от них…

Высокомерным, не допускающим возражений жестом она указала драматургу на тенистую аллею:

- Ищите развязку, а я иду домой.

Он не двигался с места и смущенно глядел ей вслед, любуясь ее легкой походкой, ее длинными красивыми ногами.

- Даже в качестве “зебры”? - спросил он жалобно.

Она обернулась, сдвинула свои черные брови:

- Ах да, в самом деле… Место свободно.

Она подумала о Лаво, об этом подлом холопе, которому она сделала столько добра… И, уже не шутя, усталым голосом сказала:

- “Зеброй” - пожалуй, если хотите…

А потом исчезла за кустом чудесных желтых, пышно распустившихся роз, готовых рассыпать лепестки при первом дуновении ветра.

Хорошо было уже одно то, что гордая Мари-Анто выслушала его до конца! Наверное, никогда еще ни один мужчина не говорил с ней таким тоном, даже ее князь. Полный надежды и воодушевления, вдохновленный только что произнесенными блестящими тирадами, драматург не замедлил найти заключительную сцену.

Он поднимался к себе, чтобы написать ее до завтрака, как вдруг остановился в изумлении: он увидел сквозь листву деревьев, что окна в апартаментах князя открыты настежь и что в них вливается солнечный свет. Для кого это? Какому счастливцу предназначаются удобные роскошные апартаменты, выходящие на Луару и в парк? Данжу осведомился - и успокоился. Для архитектора герцогини, приехавшего в замок поправляться после болезни. При добрых отношениях между семейством Астье и хозяйкой дома кого могло удивить, что Поля приняли как родного в замке Муссо, который был отчасти его творением? Однако, когда новый гость явился к завтраку, его красивое похудевшее лицо, его бледность, подчеркнутая белой, из китайского шелка косынкой, его романтическое обаяние, связанное с поединком и ранением, произвели, казалось, такое сильное впечатление на женщин, а сама герцогиня отнеслась к нему с такой заботливостью, с таким сердечным участием, что красавец Данжу, один из тех ненасытных людей, которые каждый успех другого считают посягательством на свое достояние, чуть ли не кражей, почувствовал прилив ревности. Опустив глаза в тарелку, пользуясь своим почетным местом за столом, он начал вполголоса чернить красивого молодого человека, которого, к несчастью, мол, портит нос, унаследованный от матери. Данжу поднимал на смех его дуэль, рану, а заодно и репутацию, приобретаемую в фехтовальных залах, которая от малейшего укола, при первом же серьезном столкновении лопается, как мыльный пузырь. Он добавил, не представляя себе, насколько его слова совпадают с истиной:

- Их ссора за картами - только для отвода глаз… Все это из-за женщины…

- И дуэль?.. Вы думаете?..

Данжу кивнул головой: “Да, я в этом убежден!”

В восторге от своей коварной выдумки, он привлек к себе внимание всего общества, сыпал словечками и анекдотами, которые у него всегда были наготове, как маленький карманный фейерверк. По этой части Поль Астье был не силен, и женские симпатии быстро вернулись к знаменитому своим красноречием академику, в особенности когда он объявил, что развязка найдена, пьеса закончена и что он прочтет ее в гостиной в часы полуденного зноя. Единодушным изъявлением восторга встретили дамы столь редкое развлечение в их однообразной жизни. Какая удача для этих избранниц, гордых уже самой возможностью помечать свои письма “Муссо-на-Луаре”, пересказать в них добрым приятельницам содержание неизданной пьесы Данжу, прочитанной им самим, а зимой во время репетиций небрежно заметить:

- Пьеса Данжу? Я знаю, он нам читал ее в замке.

Гости поднялись, возбужденные этим приятным сообщением. Герцогиня подошла к Полю Астье и взяла его под руку со свойственной ей слегка деспотичной грацией.

- Пройдемтесь по галерее… Здесь нечем дышать…

Духота была нестерпима даже на такой высоте, куда с Луары, казавшейся оловянной, поднимались, точно из нагретого бассейна, испарения, в которых тонули зеленые берега и островки, наполовину залитые водой. Герцогиня увела молодого человека в самый конец галереи, к последней арке, подальше от курильщиков, и, пожимая ему руку, спросила:

- Значит, это я?.. Значит, это из-за меня?

- Из-за вас, герцогиня, - ответил Поль и, искривив губы, добавил: - Дело еще не кончено… Мы возобновим…

- Не смейте об этом и думать, милый мой мальчик!

Услыхав осторожные, подкрадывающиеся шаги, она умолкла.

- Данжу!

- Что прикажете, герцогиня?

- Принесите веер, я его забыла на кресле в гостиной… Пожалуйста!.. Будьте любезны!..

Когда он отошел, она продолжала:

- Я запрещаю вам, Поль… Хотя бы потому, что с таким негодяем не дерутся… Ах, если бы мы были одни!.. Если бы я могла вам сказать…

В нервной дрожи ее голоса и рук чувствовалось сильное волнение, и это поразило Поля Астье. Теперь, спустя месяц, он надеялся, что она примирилась со своей участью. Волнение герцогини раздосадовало его, помешало произнести слова, которым нельзя противостоять: “Я люблю вас… Я всегда вас любил…” - слова, приготовленные им для первого же разговора. Он удовольствовался тем, что рассказал ей о дуэли, которая, казалось, очень ее интересовала. Тем временем академик принес веер.

- Добрая вы “зебра”, Данжу… - промолвила герцогиня в знак благодарности.

Тот, с кислой миной, но таким же шутливым тоном, вполголоса ответил:

- Да, но вы мне обещали повышение… Иначе…

- Как! Уже претензии?..

Она слегка ударила его веером и, желая, чтобы к предстоящему чтению он пришел в хорошее расположение духа, вернулась с ним под руку в гостиную. Рукопись уже лежала на ничем не накрытом кокетливом ломберном столике, залитая светом, падавшим из высокого полураскрытого окна, в которое были видны цветущие луга и купы деревьев в парке.

- “Мишура”… Пьеса в трех действиях… Действующие лица…”

Дамы уселись кружком, придвинувшись как можно ближе, и повели плечами тем грациозным зябким движением, которое свойственно женщинам, когда они предвкушают удовольствие. Данжу читал, как настоящий “лицедей” Пишераля, делал остановки, чтобы смочить губы,

прикасаясь ими к краю стакана с водой, отирал их тонким батистовым платком и по окончании чтения каждой страницы, большой и широкой, исписанной его мелким почерком, ронял ее небрежно к своим ногам на ковер. И всякий раз г-жа Фодер, иностранка, преклонявшаяся перед знаменитостями, бесшумно нагибалась, поднимала упавший лист и с благоговением клала его на кресло рядом с собой в должном порядке. Скромный, восхитительный прием, приближавший ее к мэтру и к его произведению! Как будто Лист или Рубинштейн сидели за роялем, а она переворачивала ноты. Все шло превосходно до конца первого действия. Увлекательные, забавные положения вызывали бурю одобрительных возгласов, крики “браво”, взрывы хохота. Потом, после долгого молчания, во время которого явственно слышалось звонкое гудение мошкары в листве деревьев, доносившееся из глубины парка, автор, отерев усы, снова принялся за чтение.

- “Действие второе… Сцена представляет…”

Но голос чтеца с каждой репликой менялся, становился все глуше. Данжу заметил опустевшее кресло в первом ряду, где сидели дамы, кресло Антонии, и глаза его блуждали поверх пенсне, обшаривая огромную гостиную, уставленную зелеными растениями и ширмами, за которыми укрывались слушатели, чтобы удобнее было слушать или удобнее дремать… Наконец, во время одной из частых, размеренных пауз, к которым он прибегал, отпивая из стакана, послышался шепот, промелькнуло светлое платье, и в самой глубине комнаты, на диване, Данжу увидел герцогиню, а рядом с ней Поля Астье, по-видимому продолжавших беседу, прерванную в галерее. Для такого избалованного успехом человека, каким был Данжу, обида была очень чувствительна. У него хватило, однако, мужества дочитать действие, но он с такой злобой бросал страницы на ковер, что они разлетались во все стороны, и маленькой г-же Фодер приходилось поднимать их, ползая на четвереньках. В конце концов, так как шушуканье не прекращалось, он перестал читать, сославшись на то, что внезапно потерял голос и вынужден отложить чтение до завтра. Герцогиня, всецело поглощенная дуэлью, о которой она не уставала расспрашивать, думая, что пьеса дочитана до конца, крикнула издали, всплеснув своими маленькими ручками:

- Браво, Данжу!.. Развязка превосходная!

К вечеру у великого человека разболелась печень, - или это было только предлогом? - и на рассвете он покинул Муссо, не попрощавшись ни с кем. Следовало ли приписать это бегство только оскорбленному авторскому самолюбию? Вообразил ли он, что Поль Астье на самом деле займет место князя? Как бы там ни было, но и неделю спустя после отъезда Данжу Полю удавалось только вскользь ввернуть какое-нибудь нежное слово. Герцогиня окружила его необычайным вниманием, почти материнской заботой, постоянно осведомлялась о его здоровье, расспрашивала, не слишком ли жарко в башне, обращенной окнами на юг, не утомляет ли его тряска в экипаже и не вредно ли ему так поздно оставаться на реке, но как только он пытался заговорить о любви, она ускользала от него, делая вид, что не понимает. А между тем как далека была гордая Антония прежних лет от той, какую он застал сейчас! Та, высокомерная, неприступная, одним движением бровей ставила на свое место смельчака. Невозмутимое спокойствие прекрасной реки, которую перегородила плотина! А теперь же плотина стала неустойчивой, в ней чувствовалась трещина, через которую прорывалась подлинная женская натура. Иногда герцогиней овладевали порывы возмущения общепринятыми обычаями, условностями, с которыми она прежде так считалась, у нее являлась потребность беспрестанно двигаться, уставать до изнеможения. Она собиралась устраивать празднества, иллюминации, осенью большие псовые охоты, хотела вести их сама, хотя уже несколько лет не садилась на лошадь. Красивый молодой человек внимательно следил за проявлениями ее душевной тревоги. Зорко всматривался он во все острым взглядом хищной птицы, твердо решив на этот раз не тянуть два года, как с Колеттой Розен.

В один из вечеров, проведя целый день в утомительных поездках в экипажах, в далеких экскурсиях, общество разошлось рано. Поль, поднявшись к себе, освободившись от фрака и крахмальной сорочки, в шелковой рубашке и ночных туфлях, с дорогой сигарой во рту, писал матери, подыскивая и взвешивая каждое слово. Необходимо было убедить маменьку, которая гостила в Кло-Жалланже и все глаза проглядела, стараясь различить на горизонте, за излучиной реки, четыре башни Муссо, - нужно было убедить ее, что пока немыслимо не только примирение, но даже свидание с ее бывшей приятельницей. Благодарю покорно! Очень уж все не ладилось у этой милой женщины; он предпочитал, чтобы она была подальше от его личных дел… Следовало напомнить ей, что в конце месяца наступает срок векселю, а также о ее обещании послать деньги маленькому Стэну, оставшемуся на улице фортюни единственным стражем

недвижимости в стиле Людовика XII. Если деньги от Сами еще не получены, придется занять их у Фрейде, которые, без сомнения, не откажутся выручить на несколько дней, так как сегодня утром парижские газеты в отделе заграничной хроники известили о бракосочетании нашего посла в Петербурге, сообщили о присутствии на нем великого князя, о туалете новобрачной, назвали имя польского епископа, благословившего супругов. Маменька легко может себе представить, как была воспринята в замке за завтраком эта новость, которую все знали, которую хозяйка дома читала во всех взглядах, в преднамеренном старании гостей говорить о другом. Бедная герцогиня не произнесла за столом ни слова, а после завтрака, несмотря на ужасающий зной, ощутив настоятельную потребность встряхнуться, увезла все общество в трех колясках в замок Пуассоньер, где родился Ронсар. Шесть миль под палящим солнцем, в облаках белой, хрустевшей на зубах пыли, ради удовольствия послушать, как, взобравшись на старый цоколь, такой же дряхлый, как и он сам, отвратительный Ланибуар декламирует: “О милая, пойдем взглянуть на розу!..” (*46) На обратном пути - посещение земледельческого сиротского приюта, основанного старым Падовани, - маменька, наверно, там бывала, - осмотр дортуара, прачечной, сельскохозяйственных орудий, школьных тетрадей. Какое там было зловоние и до чего было там жарко, а тут еще Ланибуар стал поучать юных землепашцев с жалкими физиономиями каторжников, внушать им, что жизнь прекрасна! И в довершение всего утомительная остановка у доменных печей близ Онзена. Пришлось целый час пробыть под жгучим солнцем, клонившимся к горизонту, в дыму и угольной копоти, изрыгаемой тремя исполинскими кирпичными трубами, спотыкаться о рельсы, сторониться вагонеток и ковшей с раскаленным добела чугуном в виде огромных глыб, пышущих огнем, похожих на пласты красноватого льда, начинающего таять. А герцогиня, взвинченная, неутомимая, ни на что не смотрела, ничего не слушала, идя под руку с Бретиньи-отцом, с которым она, казалось, о чем-то горячо спорила, столь же чуждая кузнечным горнам и доменным печам, как и Ронсару, и сиротскому приюту.

Когда Поль дошел до этого места в письме, стараясь, насколько возможно, ослабить огорчение матери, изобразив удручающую скуку в Муссо в этом году, кто-то постучал в дверь. Он подумал, что это юный критик, или Бретиньи-сын, или, наконец, Ланибуар, чем-то чрезвычайно взволнованный в последнее время. Они нередко поздно засиживались вечером в апартаментах Поля, самых просторных и уютных, к которым

примыкала прелестная курительная комната. Отворив дверь, Поль, к своему удивлению, увидел, что длинная галерея второго этажа с цветными стеклами, переливавшимися радугой, безмолвна и пуста на всем своем протяжение вплоть до массивного входа в кордегардию, скульптурные украшения которого резко очерчивались в лунном свете. Он вернулся и хотел уже сесть, но стук раздался снова. Стучали в курительной комнате, которая дверцей, замаскированной обоями, сообщалась через узенький коридорчик, пробитый в толще башни, с покоями герцогини. Это устройство, существовавшее задолго до реставрации Муссо, было неизвестно молодому архитектору, и теперь, припомнив некоторые разговоры в мужской компании за последние дни, в особенности скабрезные истории дядюшки Ланибуара, молодой зубоскал про себя подумал:

”Черт возьми, а если она нас слышала?..”

Заперев за собой дверь, герцогиня молча прошла мимо него и, положив на стол, за которым он писал, пачку пожелтевших бумаг, стала нервно теребить их своей тонкой рукой.

- Посоветуйте мне, - сказала она деловым, серьезным тоном. - Вы мой друг! Вам одному я верю.

Ему одному! Несчастная женщина! Но разве ни о чем не предупреждал ее этот хищный взгляд, настороженный и подстерегающий, скользящий от письма, легкомысленно оставленного открытым на столе, которое она могла прочесть, к ее прекрасным обнаженным рукам, выступавшим из широкого кружевного пеньюара, к ее тяжелым косам, заколотым на ночь!

”Чего она хочет? Зачем она пришла?” - спрашивал он себя.

А она, обуреваемая гневом, бешено клокотавшей в пей злобой, которая душила ее с самого утра, говорила, задыхаясь, отрывисто, почти шепотом:

- За несколько дней до вашего приезда он прислал ко мне Лаво… Да, он осмелился… Чтобы попросить свои письма… Я так приняла этого проходимца, что отбила у него охоту еще раз явиться ко мне… Его письма, - полноте, не в этом дело! Вот что ему было нужно.

Она протянула Полю связку бумаг - историю и “дело” их любви,

доказательство того, во что обошелся ей этот человек, сколько она за него уплатила, вытаскивая из грязи.

- Возьмите, посмотрите… Право, это любопытно.

И пока он перелистывал эти странные бумажонки, пропитанные запахом ее духов, достойные фигурировать на витрине Боса, фиктивные счета торговцев редкостями, ювелиров-заимодавцев, белошвеек, строителей яхт, маклеров по продаже туренских шипучих вин, векселя по сто тысяч франков, выданные знаменитым кокоткам, теперь уже умершим, исчезнувшим или удачно вышедшим замуж, расписки метрдотелей, клубных официантов - все виды документов парижского ростовщичества и расплаты по долгам промотавшегося кутилы, Мари-Анто глухим голосом продолжала:

- Как видите, реставрация Муссо не стоила мне так дорого, как реставрация этого господина!.. Это лежало у меня в шифоньерке в течение многих лет, потому что я храню все, но, клянусь богом, я никогда не думала этим воспользоваться… Теперь я рассудила иначе. Он богат… Я хочу получить обратно мои деньги в проценты с моих денег, иначе я подам в суд… Разве я не права?

- Тысячу раз правы… Только… - Он пощипывал свою рыжеватую бородку. - Разве князь д’Атис не был под опекой, когда он подписывал эти обязательства?

- Да, да, я знаю… Бретиньи мне это говорил… Ничего не добившись через Лаво, он написал Бретиньи, прося о посредничестве… Ну, понятно, ведь оба академики…

Она презрительно усмехнулась, поставив на одну доску по части академических заслуг посла и бывшего министра, и, пылая негодованием, продолжала:

- Разумеется, я могла бы и не платить, но я предпочла, чтобы он не был замаран… Я не нуждаюсь ни в каком посредничестве… Я платила - теперь мне должны возместить, иначе я обращусь в суд, и пусть будет скандал, пусть запачкается его имя, его звание французского посла в Петербурге. Если мне удастся опозорить этого негодяя, я сочту, что я выиграла дело.

- Безусловно, - сказал Поль Астье и, собрав документы, спрятал стеснявшее его письмо маменьке. - Безусловно! Но как он мог оставить в ваших руках эти улики?.. Такой ловкий человек…

- Ловок? Он?..

Она умолкла, выразив красноречивым пожатием плеч все, чего недосказала.

А Поль забавлялся тем, что подзадоривал ее, - ведь никогда не знаешь, до чего может договориться разъяренная женщина.

- Но ведь это один из наших лучших дипломатов…

- Это я его гримировала. Знает он по этой части только то, чему его научила я.

- А как же легенда о Бисмарке?

- Который не мог смотреть ему в глаза?.. Ха, ха, ха! Какая ерунда!.. Невольно отвернешься, когда он с вами заговорит… У него не рот, а клоака!

Словно стыдясь, она закрыла лицо руками, сдерживая рыдания, потом в бешенстве крикнула:

- Подумать только!.. Двенадцать лет жизни отдать такому человеку… И теперь он меня бросает, он больше не хочет, он, он!..

При этой мысли в ней возмущалась гордость. Шагая взад и вперед по комнате, доходя до широкой, низкой кровати, прикрытой старинной материей, и возвращаясь к светлому кругу, который отбрасывала лампа, она искала причины их разрыва, спрашивала себя вслух:

- Почему?.. Почему?..

Двусмысленность положения?.. Но ведь он прекрасно знал, что это должно скоро измениться, что не пройдет года, как они будут повенчаны. Состояние, миллионы этой дуры?.. Но разве она, герцогиня Падовани, менее богата, а ее связи, ее влияние, которых недостает урожденной

Совадон?.. В чем же дело? Молодость? Она злобно рассмеялась… Ха, ха, ха! Бедняжка!.. Что он сумеет сделать с ее молодостью!..

- Так я и думал, - прошептал с улыбкой Поль, приближаясь к герцогине.

Тут-то и было больное место. А она словно нарочно старалась растравить свою рану… Молода! Молода!.. Разве возраст женщины определяется по календарю?.. Посла, может быть, ждут разочарования… Быстрым движением обеих рук она распахнула кружева своего пеньюара, обнажив круглую, без единой морщинки, шею, точеный затылок.

- Вот где молодость женщин…

О, это длилось одно мгновение! Горячие умелые руки продолжали ее едва намеченное движение: застежки, пеньюар - все трещало, все разлеталось по комнате. Они обвились вокруг нее, эти руки, подняли, бросили на раскрытую постель, какой-то пламенный вихрь охватил ее, что-то могучее, сладостное, неотразимое, о чем до этой минуты она не имела ни малейшего понятия, увлекало ее за собой, окутывало, затихало, чтобы снова вспыхнуть, обволакивало, поглощало вновь и вновь, без конца… Этого ли она ожидала, входя к нему? Не подумал ли он, что-это привело ее сюда? Нет! Ее привело исступление, оскорбленная гордость, бешенство, гадливость, отвращение - то, что испытывает покинутая женщина, когда все рушится вокруг нее. Ей всегда были чужды низменные побуждения, мелочный расчет.

Вот она уже на ногах, снова овладела собой, сама себе не верит и спрашивает себя: “Я?.. С этим юношей? И так быстро!.. Хоть плачь от стыда”. А он, припав к ее коленям, вздыхает:

- Я люблю вас… Я всегда вас любил… Вспомните…

И она опять чувствует, как по ее рукам, охватывая все ее существо, летят, несутся пламенные волны. Но вдали звенят колокола, гул голосов слышится в утренней тиши… Она вырывается и убегает в полной растерянности, не захватив даже бумаг - орудия своей мести.

Мстить? Кому? Для чего? Сейчас в ее сердце уже не было ненависти: она любила. И это было так ново, так необычно для этой светской львицы - любовь, настоящая любовь, с ее самозабвением и восторгами, - так

неожиданно, что в пылу первых объятий она в простоте душевной подумала, что умирает. С этого времени наступило успокоение. Она словно выздоровела, ее походка и голос изменились, она стала другой женщиной, одной из тех, про которых в народе говорят, когда они медленно, словно убаюканные, идут под руку с возлюбленным или мужем: “Вот у этой есть все, что ей нужно”. Такого рода женщины встречаются реже, чем обычно думают, особенно в “обществе”. В данном случае положение осложнялось светскими условностями, обязанностями хозяйки дома, которая должна была провожать уезжающих, приветствовать и заботиться о размещении второй партии гостей, более многочисленных и менее близких. Явилась вся академическая знать: герцог де Курсон-Лоне, герцог и герцогиня Фицрой, супруги де Сиркур, барон и баронесса Юшенар, министр Сент-Аволь, Мозер с дочерью, г-н и г-жа Генри из американской дипломатической миссии. Нелегкая задача - накормить и развлечь всех этих людей, объединить такое разнородное общество! Никто не умел это сделать лучше герцогини, но теперь все казалось ей скучной и тягостной обязанностью. Ей хотелось не двигаться, наслаждаться своим счастьем, не помышляя ни о чем другом, и она ничего не могла придумать для развлечения своих гостей, кроме неизменных поездок на реку к рыболовным сетям, в замок Ронсара и в сиротский приют, счастливая уже тем, что, оказавшись рядом в коляске или в лодке, могла коснуться своей рукой руки Поля.

В одну из таких скучнейших поездок по Луаре лодочная флотилия замка под шелковыми навесами, с герцогскими гербами на развевавшихся по ветру флагах, на которых играли солнечные блики, заплыла дальше, чем обычно. Поль Астье, который находился в лодке, шедшей впереди лодки его любовницы, сидел на корме рядом с Ланибуаром, поверявшим ему свои сердечные тайны. Получив дозволение продлить свое пребывание в Муссо до окончания доклада, старый безумец вообразил, что его ухаживания благосклонно принимаются и что он имеет шансы занять место Сами, и, как это постоянно бывает в таких случаях, он делился с Полем своими надеждами, передавал ему то, что он сказал и что ему ответили, со всеми подробностями.

- Что бы вы сделали на моем месте, молодой человек?

Чистый и звонкий голос прозвучал над водой с лодки, следовавшей за ними:

- Господин Астье!..

- Да, герцогиня?

- Посмотрите, вон там, в камышах… Это не Ведрин?

В самом деле, на старой плоскодонке, привязанной к суку ольхи у зеленого островка, где заливались трясогузки, Ведрин писал пейзаж. Жена и дети были с ним. Флотилия герцогини приблизилась и стала борт о борт с его челном, - все представлялось развлечением для вечно скучающего светского общества, и пока герцогиня с самой очаровательной улыбкой здоровалась с г-жой Ведрин, которая когда-то гостила в Муссо, женщины с любопытством рассматривали художника и его жену, их прелестных, взлелеянных любовью и солнцем детей, всю эту семью, приютившуюся под сенью зеленого свода, на прозрачной и спокойной реке, в которой отражалась картина их безмятежного счастья. Ведрин, поздоровавшись, не выпуская из рук палитры, сообщил Полю новости в Кло-Жалланже, в этом длинном, низком и белом здании, что виднелось на косогоре сквозь туман, поднимавшийся с реки.

- Все там с ума сошли, милый мой, помешались на том, кто займет кресло Луазильона. Весь день они только и делают, что подсчитывают голоса: все - твоя мать, Пишераль и несчастная калека в кресле на колесиках… Бедняжка тоже схватила академическую лихорадку. Она собирается переехать в Париж, устраивать празднества и приемы, чтобы способствовать успеху брата.

И вот, чтобы убежать от этого помешательства, он на целый день перебирается сюда со своим семейством, работает на вольном воздухе. Показав на старый челн, художник, посмеиваясь, без тени досады добавил:

- Это моя дахабиэ, мое путешествие по Нилу…

Вдруг маленький мальчик, не сводивший глаз с дядюшки Ланибуара и не обращавший внимания на многочисленное общество, на красивых дам в нарядных туалетах, звонким голоском спросил академика:

- Скажите: вы тот господин из Академии, которому скоро будет сто лет?

Почтенный докладчик, собравшийся было щегольнуть своими

мореходными талантами перед прекрасной Антонией, чуть не свалился на скамейку. Как только стихли раскаты неудержимого смеха, Ведрин рассказал о странном интересе ребенка к Жану Рею, которого он не знал, никогда не видел, но который занимал мальчугана только потому, что приближался к ста годам. Каждое утро прелестный малыш справлялся об академике: “Как он поживает?” Это крохотное существо было проникнуто каким-то почти эгоистическим уважением к долголетию, бессознательной надеждой тоже дотянуть до этого возраста, раз это удалось другому.

Свежело, ветер играл вуалями дам и пестрыми флажками судов. Огромные тучи надвигались с Блуа, а со стороны Муссо, где в темном небе сверкали четыре фонаря на высоких башнях замка, дождевая завеса закрыла горизонт. Началась спешка, суета. Лодки удалялись между желтыми песчаными отмелями, следуя одна за другой из-за узости фарватера, а Ведрин в это время любовался игрой красок на грозовом небе, живописными силуэтами лодочников, стоящих на носу и напиравших на длинные шесты. Затем он обернулся к жене, которая, опустившись на колени в челноке, закутывала детей и убирала ящик с красками и палитру.

- Взгляни, мамочка… Когда я говорю о каком-нибудь товарище, что мы с ним с одной лодки… Вот тебе наглядный пример: все эти лодки, идущие вереницей по ветру, спасающиеся от надвигающейся ночи, - это прекрасный образ смены поколений в искусстве. Как мы ни церемонимся друг с другом в одной лодке, все мы друг друга знаем, сидим бок о бок, все дружны поневоле, не сознавая этого, потому что плывем на одном судне… Но те, что впереди, - как они медлят, как они задерживают нас! Между их лодкой и нашей нет ничего общего. Слишком далеки мы друг от друга, слишком мы разные люди. Мы обращаемся к ним только с возгласом, полным нетерпения: “Да двигайтесь же, чего встали!” - тогда как лодке, которая следует за нами, полной молодого задора, готовой налететь на нас и пройти по нашим телам, мы сердито кричим: “Тише вы!.. Куда спешите?..” Что касается меня, - продолжал художник, выпрямившись во весь свой высокий рост и, казалось, подчиняя себе и берег и реку, - я, конечно, нахожусь в своей лодке и люблю ее, но мое внимание привлекают и те, которые удаляются, и те, которые приходят нам на смену… Я окликаю их, подаю им знаки, стараюсь поддержать связь со всеми… Потому что всем - и тем, кто впереди нас, и тем, кто следует за нами, - грозят одни и те же беды, для каждой из наших лодок течения опасны, небо изменчиво и вечер наступает слишком быстро… А теперь в путь, мои

дорогие, - сейчас хлынет дождь.

13

”Молитесь за упокой души высокородного владетельного сеньора герцога Шарля-Анри-Франсуа Падовани, князя Ольмюц, бывшего сенатора, посла и министра, кавалера большого креста ордена Почетного легиона, скончавшегося 20 сего сентября 1880 года в своем поместье Барбикалья, где и преданы земле его останки. Заупокойная обедня будет отслужена в следующее воскресенье в часовне замка. Вас просят на оную пожаловать”.

Чувство радости и упоительной гордости охватило Поля Астье, когда, спускаясь из своей комнаты к полуденному завтраку, он услышал это известие, странным образом оглашаемое от Муссо до Онзена на обоих берегах Луары служащими похоронного бюро Вафлар в цилиндрах, обвитых крепом, ниспадающим до земли, с колокольчиками в руках, которыми они позванивали на ходу.

Весть о смерти герцога, скончавшегося четыре дня тому назад, переполошила всех в Муссо и, как ружейный выстрел, вспугивающий выводок куропаток, заставила разлететься всех гостей второй очереди - кого на берег моря, кого в совершенно непредвиденное для отдыха место, а герцогиню - немедленно уехать на Корсику, оставив в замке лишь нескольких добрых друзей.

Как бы там ни было, эти печальные голоса, беспрерывный звон колокольчиков, который врывался вместе с речным ветром в стрельчатое окно лестницы, это сообщение о смерти, возвещаемое на королевский, устаревший лад, придавали феодальному замку Муссо своеобразное величие, еще выше поднимали его четыре башни и верхушки его столетних деревьев. Итак, все это будет принадлежать ему. Его любовница, уезжая, умоляла его остаться в замке, чтобы по ее возвращении совместно решить серьезнейшие вопросы, и этот погребальный речитатив, казалось, возвещал его близкое вступление во владение имуществом: “Молитесь… за упокой…” Наконец-то богатство у него в руках, и на сей раз он не даст себя обобрать… “…За упокой души бывшего сенатора, посла и министра…”

- Как заунывно звучат колокола, правда, господин Астье? - обратилась к нему м-ль Мозер, сидевшая за столом между своим отцом и академиком Ланибуаром.

Герцогиня удержала их в Муссо отчасти для того, чтобы Поль не скучал в одиночестве, отчасти же, чтобы несчастная Антигона - раба отцовского честолюбия - могла еще немного отдохнуть и побыть на свежем воздухе. Во всяком случае, бедняжка Мозер, с глазами как у побитой собаки и с выцветшими волосами, вечно в хлопотах, постоянно вымаливавшая недостижимое академическое кресло, не представляла опасности как соперница. В это утро, однако, она принарядилась, навела на себя красоту, надела свежее платье с вырезом в форме сердечка. То, что виднелось в этом вырезе, было крайне жалко и убого, но за неимением лучшего… И Ланибуар, придя в веселое настроение, заигрывал с ней, не скупясь на двусмысленности… Он не находил заунывными ни похоронный звон, ни эти призывы: “Молитесь за упокой души”, раздававшиеся далеко вокруг. Напротив, жизнь в силу контраста казалась ему еще прекраснее, вуврейское вино в графинах - еще золотистей, и он продолжал отпускать свои сальные шутки, звучавшие диссонансом в величественной, огромной столовой. Кандидат Мозер с помятым подобострастным лицом угодливо хихикал, хотя и был несколько смущен присутствием дочери, но что делать - философ так влиятелен в Академии!

После кофе, который пили на террасе, Ланибуар стал красным как рак.

- Идемте работать, мадемуазель Мозер, я чувствую себя в ударе!.. - воскликнул он. - Думаю, что закончу сегодня свой доклад.

Маленькая кроткая Мозер, исполнявшая иногда у академика обязанности секретаря, поднялась с места не без некоторого сожаления. В такой чудесный день, окутанный первым осенним туманом, она предпочла бы большую прогулку или охотно осталась бы поболтать в галерее с Полем Астье, таким красивым, воспитанным молодым человеком, вместо того чтобы писать под диктовку дядюшки Ланибуара похвальное слово старым преданным нянькам и образцовым больничным служителям. Но отец торопил ее:

- Иди, иди, дочка, мэтр тебя ждет…

Она повиновалась и пошла вслед за философом в сопровождении отца, отправлявшегося вздремнуть после завтрака. Что произошло потом? Какая драма разыгралась в комнате Ланибуара, который хотя и унаследовал нос Паскаля, но его добродетелью похвалиться не мог? Возвращаясь с продолжительной прогулки по лесам, предпринятой, чтобы успокоить свое нетерпение - нетерпение честолюбца, Поль Астье увидел на дворе фаэтон, стоявший у подъезда и запряженный парой горячих лошадей. М-ль Мозер уже сидела в нем среди саквояжей и чемоданчиков, а на крыльца старик Мозер растерянно рылся в карманах, раздавая чаевые ухмылявшимся лакеям. Поль подошел к фаэтону.

- Вы покидаете нас, мадемуазель?

Она протянула ему руку, длинную, потную, холодную руку, на которую позабыла натянуть перчатку, и молча, не отнимая от глаз платка, вытирая слезы под вуалью, кивнула ему головой. Ничего он не добился и от старого Мозера, печально и сердито бурчавшего себе под нос, стоя одной ногой на подножке:

- Это она… Это она решила уехать… Говорит, будто с ней обошлись непочтительно… Но я не могу допустить…

Он тяжело вздохнул, и его глубокая морщина посреди лба, “академическая морщина”, красная, как рубец от сабельного удара, стала еще заметнее.

- Это очень плохо для моей кандидатуры.

За обедом Ланибуар, не выходивший все это время из своей комнаты, спросил, садясь против Поля:

- Вы не знаете, почему наши добрые друзья Мозер так внезапно нас покинули?

- Нет, дорогой мэтр… А вы?

- Странно! Очень странно!

Академик старался казаться как нельзя более спокойным в присутствии слуг, осведомленных об его похождении, но было заметно, что он смущен,

что он трусит, что он пребывает в состоянии, обычном для старого сластолюбца, который, едва утихает его лихорадка, боится последствий совершенных им гнусностей. Мало-помалу он ободрился, примирился с жизнью и, понимая, что неуместно дуться за столом, в конце концов признался своему молодому другу, что, быть может, зашел далеко с этой милой девушкой…

- Но ведь отец сам ее мне навязывает, сам толкает ко мне в объятия… Можно быть докладчиком о премиях за добродетель, но все же, черт возьми!..

Он победоносно потрясал своей рюмкой, но Поль Астье одним словом прервал его красноречие:

- А герцогиня? Мадемуазель Мозер, наверное, ей написала, пожаловалась или, по крайней мере, объяснила причину своего отъезда.

Ланибуар побледнел.

- Вы думаете?

Поль, чтобы избавиться от несносного болтуна, продолжал на этом настаивать. А если сама девушка и не сообщит о случившемся, то может донести кто-нибудь из слуг. Поводя своим плутоватым носиком, Поль добавил:

- На вашем месте, дорогой мэтр…

- Пустяки! Я отделаюсь сценой, которая сильно подымет мои шансы… Женщины похожи на нас: такие истории их только подзадоривают!

Старый философ храбрился, но накануне возвращения герцогини, сославшись на приближающиеся выборы в Академию и вечернюю сырость, вредную для его ревматизма, сбежал, увозя в чемодане дописанный наконец доклад.

Герцогиня прибыла в воскресенье к обедне, отслуженной торжественно в замковой часовне в стиле Ренессанс, где многогранный талант Ведрина

сумел восстановить чудесные разноцветные стекла и восхитительную резьбу запрестольной части алтаря. Огромная толпа крестьян из окрестных деревень - мужчины в допотопных сюртуках, в длинных синих засаленных блузах, женщины в белых чепцах и туго накрахмаленных косынках, коричневые от загара, - переполняли часовню и двор. Они собрались сюда не ради заупокойной службы, не для того, чтобы почтить память старого герцога, которого никто здесь не знал, а только ради поминальной трапезы на вольном воздухе после обедни в бесконечно длинной, ведущей к замку аллее, по обеим сторонам которой были расставлены длинные столы и скамьи. За этими столами после окончания богослужения легко разместились тысячи две-три крестьян. Вначале они конфузились: их смущали суетившиеся слуги в черных ливреях, егеря с крепом на фуражках, - осеняемые величавой тенью вязов, они говорили вполголоса, но мало-помалу под влиянием вина и сытной еды поминальная трапеза оживилась, превратилась в настоящую попойку.

Герцогиня и Поль Астье, сбежав от этих отвратительных поминок, ехали крупной рысью среди полей, по безлюдным, как обычно в воскресные дни, дорогам, в открытом ландо, обитом черным сукном. Высокие лакеи с траурными кокардами на шляпах и длинная вдовья вуаль его спутницы напоминали молодому человеку такие же поездки.

"Покойники вечно путаются в моих делах", - думал он, с легкой грустью вспоминая о хорошенькой головке в кудряшках - головке Колетты Розен на черном фоне.

Герцогиня, утомленная путешествием, утратившая отчасти свое изящество в сделанном наспех траурном наряде, все же сохраняла величественную осанку, которой совершенно была лишена Колетта. К тому же в данном случае покойник был не обременителен; Мари-Анто была женщина искренняя и не напускала на себя скорбь, которую в подобных обстоятельствах сочла бы для себя обязательной всякая заурядная женщина, даже ненавидевшая умершего мужа и изменявшая ему направо и налево. Под громко стучавшими копытами лошадей дорога вилась лентой с небольшими подъемами и спусками то между дубовыми рощами, то по обширным равнинам, где над разбросанными там и сям скирдами хлеба кружились стаи ворон. Дождливое, серое, низко нависшее небо лишь изредка озарялось бледным солнечным светом. Колени герцогини и Поля, укрытые от ветра меховой полостью, соприкасались.

Герцогиня говорила о своей Корсике, об удивительном vocero [причитание в стихах (корсиканок.)], которое импровизировала на похоронах ее горничная.

- Матеа?

- Да, Матеа! Представьте, она замечательный поэт.

Герцогиня прочла несколько стихотворений поэтессы-плакальщицы на благородном корсиканском наречии, которое удивительно гармонировало с ее контральто. О серьезных решениях пока не было сказано ни одного слова.

А только это и интересовало Поля, гораздо больше, чем стихи камеристки. Вероятно, Антония откладывает разговор до вечера. Вполголоса, чтобы позабавить ее, он рассказал ей о приключении Ланибуара и о том, как он ловко выпроводил академика.

- Бедняжка Мозер! - смеясь, сказала герцогиня. - На этот раз ее отец должен непременно попасть в Академию… Она это заслужила…

Они обменялись потом лишь несколькими короткими фразами, наслаждаясь близостью друг к другу, как бы убаюканные мерным покачиванием ландо, а между тем на поля спускались вечерние сумерки и доменные печи вдали выбрасывали снопы пламени, искрами разлетавшиеся по небу. Жаль только, что обратный путь был испорчен криками и песнями пьяных крестьян, толпами возвращавшихся с поминок; они чуть не лезли под колеса, валились в канавы, тянувшиеся по обеим сторонам дороги, оттуда слышались храп и отборная ругань. Так молились они за упокой души вельможи.

Во время обычной прогулки по галерее, где между массивными колоннами еще смутно вырисовывался горизонт, герцогиня, прижавшись к Полю, вглядывалась в темноту ночи, шептала:

- Как хорошо! Мы вдвоем… Совсем одни…

И все же не заговаривала о том, чего ожидал от нее молодой человек.

Он пытался навести ее на этот разговор и, нагнувшись совсем близко к

ней, касаясь губами ее волос, спрашивал о том, где она намерена провести зиму. Думает ли она вернуться в Париж? О, конечно, нет! Ей опротивел Париж с его изолгавшимся обществом, где все обманывают и предают друг друга. Только она еще не решила, запереться ли в Муссо или предпринять большое путешествие в Сирию и в Палестину. Что он об этом думает?.. Значит, в этом и заключались важные вопросы, решить которые следовало сообща: в сущности, это был лишь предлог, придуманный женщиной, чтобы его удержать, боявшейся, что кто-нибудь его отнимет у нее, если он во время ее отсутствия вернется в Париж. Поль, считая, что его дурачат, кусал себе губы. “Ах, вот как, голубушка!.. Ну хорошо, посмотрим!..”

Утомленная дорогой и целым днем, проведенным на воздухе, герцогиня поднялась к себе усталой походкой, обменявшись с молодым человеком многозначительным рукопожатием, за которым обычно следовали сказанные им украдкой нежные слова: “Я жду вас”. Она пришла бы, он был бы там, за дверью, прислушивался бы к ее шагам… И они вознаградили бы себя за мучительный день. Целая ночь блаженства в этих словах, сказанных шепотом: “Я жду вас”. Но этих слов Поль Астье не произнес в этот вечер, и, несмотря на свое неудовольствие, Мари-Анто усмотрела в этой сдержанности уважение к ее трауру, к обтянутой черным сукном часовне и, засыпая, решила, что он проявил большую деликатность.

Утром повидаться не удалось: герцогиня была занята делами, проверяла счета дворецкого и расчеты с фермерами, вызвав восторг нотариуса Гобино, который говорил Полю за завтраком, лукаво улыбаясь каждой морщинкой своего старого высохшего лица:

- Ну, эту не проведешь!

”Много ты смыслишь!” - думал подстерегающий зверя молодой охотник, пощипывая свою белокурую бородку. Тем не менее, слыша, как резко и сухо звучало чудесное, страстное контральто во время этих деловых разговоров, он понимал, что игра предстоит нешуточная.

После завтрака прибыли из Парижа ящики с туалетами от Шприхта вместе со старшей закройщицей и двумя мастерицами. Наконец к четырем часам герцогиня спустилась в дивном костюме, делавшем ее совсем молодой и стройной, и предложила Полю прогуляться по парку. Они шли рядом по аллеям, нога в ногу, бодрым шагом, стараясь уйти от стука

граблей, которыми садовники три раза в день вели борьбу с опавшими листьями. Но, сколько ни хлопотали рабочие, час спустя дорожки вновь покрывались красочным восточным ковром богатых оттенков - пурпурных, золотистых, зеленых, - и он шуршал под ногами герцогини и ее спутника во время их прогулки под косыми лучами ласкающего осеннего солнца. Герцогиня говорила о своем муже, причинившем ей так много страданий в дни ее молодости, старательно подчеркивая, что траур она носит лишь из приличия, ради соблюдения светских условностей, что сердцем она не скорбит. Поль прекрасно понимал, в чем дело, улыбался, но твердо решил не изменять своей тактики, быть по-прежнему холодным и сдержанным.

В самом конце парка они присели на скамейку возле скрытой кленами и бирючиной беседки, где хранились сети и весла маленькой флотилии. Отсюда виднелись сбегавшие под гору лужайки, высокие и низкорослые старые деревья, освещенные солнцем, местами словно позолоченные, а за ними глазам открывался замок; с закрытыми по большей части окнами, с опустевшими террасами, с возносившимися ввысь фонарями и башнями, он казался еще величественнее, еще более погруженным в прошлое.

- Как грустно расставаться со всем этим! - со вздохом сказал Поль.

Герцогиня взглянула на него в недоумении, нахмурившись, сдвинув брови… Уехать? Он хочет уехать?.. Но почему?

- Такова жизнь, увы! Ничего не поделаешь…

- Расстаться?.. А я?.. А это большое путешествие, которое мы собирались предпринять вместе?

- Я вам не противоречил…

Но разве такой бедный художник, как он, может себе позволить поездку в Палестину? Мечты!.. Несбыточные мечты!.. Дахабиэ Ведрина - дырявый челн на Луаре.

Она пожала плечами - прекрасными плечами патрицианки.

- Оставьте, Поль, это - ребячество! Разве всем, что я имею, вы не владеете наравне со мной?

- В качестве кого же?

Слово было сказано! Но она еще не понимала, куда он клонит. А он, боясь, что поторопился, добавил:

- Да, в качестве кого перед лицом узкого в своих суждениях света я буду путешествовать с вами?

- В таком случае останемся в Муссо.

Он склонился с любезной иронией:

- Вашему архитектору здесь больше нечего делать.

- Не беспокойтесь, мы найдем ему работу… даже если бы мне пришлось ночью поджечь замок…

Она смеялась своим чудесным, сладострастным смехом, прижималась к нему, хватала его руки, гладила себе ими лицо, льнула к нему. Но того слова, которого ожидал Поль, которого он от нее добивался, она так и не произнесла.

- Если вы меня любите, Мари-Антония, - резко сказал он, - позвольте мне уехать, я должен подумать о своем будущем, о своих близких… Мне никогда не простят зависимости от женщины, которая мне не жена и никогда ею не будет.

Она поняла, закрыла глаза, точно перед пропастью, и в наступившей тишине слышно было, как под дуновением ветерка падают в парке листья - одни, еще напоенные соками, скользили с ветки на ветку, другие, совсем невесомые, шуршали еле слышно, как женское платье: казалось, будто безмолвная толпа крадучись бродит вокруг беседки под кленами. Герцогиня, вся дрожа, поднялась.

- Холодно, пойдемте домой.

Жертва была принесена. Ей этого не пережить, но свет не увидит унизительного превращения герцогини Падовани в г-жу Поль Астье, герцогини, вышедшей замуж за своего архитектора.

Поль весь вечер без малейшей рисовки занимался приготовлениями к отъезду: велел уложить вещи, осведомился о расписании поездов, по-царски одарил слуг, был непринужден и разговорчив, но не сумел добиться ни единого слова от прекрасной Антонии, молчаливой, нахмуренной, поглощенной чтением журнала, страницы которого она забывала перелистывать. Только когда Поль стал прощаться с нею и благодарить за длительное сердечное гостеприимство, он увидел при свете лампы под большим кружевным абажуром выражение бесконечной муки на ее гордом лице и молящую нежность в прекрасных глазах - мольбу пораженного насмерть зверя.

Поднявшись к себе, молодой человек убедился, что курительная комната заперта. Он погасил свет и стал ждать, замерев на диване у маленькой двери. Если она не придет, значит, он ошибся, и надо будет все начинать сызнова. Но вот в потайном коридоре послышался легкий шорох шелкового пеньюара. Казалось, невозможность войти вызвала удивление, потом последовал даже не стук, а скорее легкое прикосновение пальцем к замку. Поль не шелохнулся, не двинулся с места, даже когда раздалось легкое покашливание. Затем он услышал, как она удаляется неспокойными, неравномерными шагами.

”Ну, теперь попалась, - подумал молодой человек. - Что захочу, то с ней и сделаю…”

И он спокойно лег спать.

”Если бы меня звали князем д’Атисом, согласились ли бы вы стать моей женой по окончании траура?.. А ведь д’Атис не любил вас, а Поль Астье вас любит и, гордясь своей любовью, хотел бы заявить об этом громко, во всеуслышание, а не скрывать, как что-то постыдное. Ах, Мари-Анто, Мари-Анто!.. Какой чудесный сон мне приснился!.. Прощайте навеки!..”

Она читала это письмо с трудом - глаза у нее опухли от слез, пролитых ночью.

- Господин Астье уехал?

Камеристка, высунувшись из окна, чтобы укрепить ставни, увидела коляску с г-ном Астье уже в конце главной аллеи - далеко, не вернешь. Герцогиня соскочила с кровати и подбежала к часам.

- Девять часов!

Экспресс проходил через Онзен в десять.

- Скорее верхового!.. Бертоли!.. Оседлать лучшую лошадь!..

Прямиком через лес можно приехать раньше. Пока ее приказания спешно исполнялись, она писала стоя, даже не одевшись! “Вернитесь!.. Все будет так, как вы хотите…” Нет, слишком холодно, он не вернется. Она разорвала записку и написала другую: “Твоей женой, твоей любовницей, чем хочешь, только твоей!.. твоей…” - и подписала: “Герцогиня Падовани”. И вдруг, испугавшись при мысли, что он все же не вернется, решила:

- Я поеду сама… Амазонку, скорей!

Она крикнула в окно уже готовому к отъезду Бертоли и приказала ему оседлать для нее Мадемуазель Оже.

Пять лет она не ездила верхом. Амазонка трещала на ее располневшей талии, недоставало застежек.

- Оставь, Матеа, оставь…

С помертвевшим лицом она спустилась по лестнице, закинув на руку шлейф, среди остолбеневших выездных лакеев, и помчалась по аллее. Решетка, дорога. И вот она, овеваемая лесной прохладой, несется под сенью зеленых деревьев, по длинным аллеям, вспугивая своей бешеной скачкой птиц и зверей. Она хочет его догнать, он нужен ей во что бы то ни стало, только он, мужчина, возлюбленный, в чьих объятиях она умирает и возрождается вновь. Теперь, когда она познала любовь, какое ей дело до всего остального!.. Пригнувшись к седлу, она прислушивается, не слышно ли пыхтения паровоза, которое так легко различить в сельской тиши. Лишь бы поспеть вовремя!.. Безумная! Пусти она лошадь шагом, все равно она нагонит очаровательного беглеца - ведь он ее злой рок, которого избежать невозможно.

14

”М-ль Жермен де Фрейде.

Вилла Босежур, Париж - Дасси.

Кафе Орсе, одиннадцать часов. За завтраком.

Через каждые два часа и даже чаще, если только сумею, буду посылать тебе депеши, чтобы умерить твое волнение, дорогая сестричка, и чтобы чувствовать себя неразлучным с тобой в течение этого великого дня, который, я надеюсь, закончится моим избранием, несмотря на отступничество некоторых в последнюю минуту. Пишераль только что передал мне остроту Ланибуара: “В Академию входят со шпагой на перевязи, а не в руке” - намек на дуэль Астье. Дрался, правда, не я, но мерзавец для красного словца готов забыть о данном мне обещании. Не следует рассчитывать и на Данжу. Сколько раз он твердил: “Будьте одним из наших…”, - а сегодня утром в секретариате шепнул мне; “Постарайтесь стать желанным”, - вероятно, это лучшая острота из его репертуара. Но все равно! Успех мне обеспечен. Конкурентов бояться нечего. Барон Юшенар, автор “Пещерных людей”, - член Французской академии! Да весь Париж бы взбунтовался. Что же касается г-на Дальзона, то я удивляюсь его смелости. У меня в руках его книга, его знаменитая книга… Я не решаюсь воспользоваться ею, но пусть он будет поосторожней!

Двенадцать часов.

Я во дворце Мазарини, у моего доброго учителя, - здесь буду дожидаться исхода выборов… Недурно придумано! Мне кажется только, что мой приход, хотя я о нем и предупредил заранее, вызвал переполох. Друзья наши кончали завтракать. Поднялась суматоха, захлопали двери. Корантина, вместо того чтобы провести в гостиную, втолкнула меня в

архив, куда вскоре вслед за мной вошел и мэтр. Он казался смущенным, говорил, понизив голос, советовал мне держаться как можно тише. И до чего он был печален!.. Неужели у него дурные вести?.. “Нет, нет, голубчик…” Затем, крепко пожав мне руку, добавил: “Не падайте духом…” С некоторых пор бедняга сильно изменился. Видимо, у него какое-то горе, он с трудом удерживает слезы. Его снедает тайная глубокая скорбь, не имеющая, конечно, никакого отношения к моей кандидатуре, но я нахожусь в таком состоянии…

Придется ждать еще час с лишним. Чтобы скоротать время, рассматриваю на другой стороне двора через большую застекленную дверь, ведущую в зал заседаний, бюсты академиков. Уж не предзнаменование ли это?

Без четверти час.

Только что видел, как прошли один за другим мои судьи - тридцать семь, если я правильно сосчитал. Эпеншар в Ницце, Рипо-Бабен прикован к постели, а Луазильон покоится на кладбище. Как величественны эти знаменитые мужи, входящие в судилище! Те, кто помоложе, идут медленно и степенно, склонив голову, словно под гнетом тяжелой ответственности, а старики держатся прямо, бодро шагают вперед. Подагрики и ревматики, как, например, Курсон-Лоне, подъезжают в каретах к самому подъезду и опираются на руку кого-нибудь из собратьев. Бессмертные останавливаются, прежде чем подняться, оживленно беседуют небольшими группами, пожимая плечами, откидываясь назад, энергично жестикулируя. Чего бы только я не дал, чтобы услышать, как обсуждаются в последний раз мои шансы! Тихонько приотворяю окно. Коляска, нагруженная чемоданами, с грохотом въезжает во двор, из нее выходит путешественник в шубе и меховой шапке. Это Эпеншар, моя дорогая, Эпеншар, нарочно прибывший из Ниццы, чтобы подать за меня голос. Добрейшая душа!.. Потом прошел и мой учитель, сгорбленный, в широкополой шляпе, перелистывая экземпляр “Обнаженной”, который я решился передать ему на всякий случай… Что делать, надо защищаться!

Двор опустел, остались две кареты, поджидающие хозяев, да бюст Минервы, стоящей на своем посту. Заступись за меня, богиня! А там,

наверху, начинается перекличка и опрос: каждый академик обязан подтвердить председателю, что он никому не обещал своего голоса. Простая формальность, разумеется, на которую все отвечают, улыбаясь и отрицательно качая головой, как китайские болванчики.

Что-то неслыханное! Передав свою депешу Корантине, я подошел к окну, чтобы подышать свежим воздухом, и попытался прочесть в возвышающемся напротив мрачном здании решение моей участи, как вдруг у соседнего, тоже открытого, окна увидел Юшенара, почти бок о бок со мной… Юшенар, мой соперник, злейший враг Астье-Рею, в его кабинете!.. Оба в одинаковой степени изумленные, мы поклонились друг другу и тут же отпрянули… Однако он здесь, я слышу его, чувствую его за перегородкой. Без сомнения, он, так же как и я, ждет решения Академии, только со всеми удобствами, в бывшей гостиной Вильмена, а я задыхаюсь в этой дыре, заваленной старыми бумагами. Теперь я понимаю, почему мой приход вызвал переполох… Но в чем же дело? Как это случилось?.. Дорогая сестра! У меня голова идет кругом. Над кем же здесь смеются?

Полное поражение и измена! Подлая академическая интрига, которую я еще не могу разгадать.

Первый тур

Барон Юшенар …… 17 голосов

Дальзон ……….. 15 - ” -

Виконт де Фрейде … 5 - ” -

Мозер ………….. 1 голос

Второй тур

Барон Юшенар …… 19 голосов

Дальзон ……….. 15 - ” -

Виконт де Фрейде … 3 голоса

Мозер ………….. 1 голос

Третий тур

Барон Юшенар …… 33 голоса

Дальзон ………… 4 - ” -

Виконт де Фрейде … 0 голосов

Мозер ………….. 1 голос

Очевидно, между вторым и третьим туром экземпляр “Обнаженной” ходил по рукам, но в интересах барона Юшенара… Объяснений!.. Я хочу, я требую объяснений!.. Я не выйду отсюда, прежде чем не получу их…

Половина третьего.

Можешь себе представить, дорогая сестра, что я испытал, когда вслед за доносившимися до меня из соседней комнаты поздравлениями и приветствиями, которые г-н и г-жа Астье, старик Рею и целый ряд посетителей приносили автору “Пещерных людей”, дверь в архив раскрылась и вошел мой учитель, протягивая ко мне руки.

- Простите меня, дорогой друг!.. - От жары, от волнения он задыхался. - Простите… Этот человек держал меня за горло… Я вынужден был… вынужден был… Я думал предотвратить грозящую мне страшную беду, но от судьбы не уйдешь даже ценою подлости.

Он раскрыл мне свои объятия, и я бросился к нему, не помня зла, хорошенько даже не понимая, что за мука, скрываемая от всех, его гложет.

В конце концов все это скоро удастся поправить. Превосходные вести о Рипо-Бабене: вряд ли он протянет эту неделю. Предстоит еще одна кампания, дорогая сестрица. К несчастью, салон Падовани будет закрыт всю зиму по случаю траура. Полем действия для нас остаются только приемные дни у г-жи Астье, г-жи Анселен и г-жи Эвиза, понедельники которой стали пользоваться успехом с легкой руки великого князя. Но прежде всего, дорогая сестрица, надо будет переехать. Пасси слишком отдален от центра, академики не станут там бывать. Ты скажешь, что я тебя совсем замучаю, но что делать, это вопрос первостепенной важности! Посмотри на Юшенара - никаких оснований попасть в Академию, кроме его приемов…

Я обедаю у моего добрейшего учителя, не жди меня.

Нежно любящий тебя брат

Абель де Фрейде.

Единственный голос за Мозера на всех турах - это голос Ланибуара, докладчика о премиях за добродетель. По этому поводу ходит анекдот, весьма игривый!.. Ну, да об этом не стоит и говорить… Кулисы дворца Мазарини… Что за комедия!”

15

- Какая мерзость!

- Необходимо ответить. Академия не может быть под ударом…

- Что вы! Напротив, Академия должна…

- Господа, господа! Настоящее мнение Академии…

В зале закрытых заседаний, у большого камина, над которым висит портрет кардинала Ришелье во весь рост, Бессмертные горячо спорят, прежде чем начать заседание.

Сумрачный, холодный свет парижского зимнего дня, проникающий сквозь застекленный потолок, еще усиливает ледяную торжественность мраморных бюстов, расставленных вдоль стен. Огромной раскаленной топке камина, красной, как сутана кардинала, не удается согреть этот своего рода маленький парламент или трибунал с зелеными кожаными креслами и длинным подковообразным столом перед кафедрой, не удается согреть педеля, стоящего у входа неподалеку от секретаря Пишераля.

Обыкновенно эти четверть часа, предоставляемые запоздавшим, - самая приятная часть заседания: академики, собравшись небольшими группами, вполголоса дружески судачат, повернувшись спиною к огню и подняв фалды фраков. Но сегодня разговор становился общим, приобретая характер резких публичных дебатов, в которых вновь прибывшие принимали участие, как только входили в зал, едва расписавшись на листе присутствующих. Иные, даже не переступив порога, снимая шубы, кашне и калоши в пустынном зале Академии наук, уже приоткрывали дверь, выражая возмущение этой подлостью, этим гнусным поступком.

Причина переполоха - появление в одной утренней газете очень резкого отзыва Флорентийской академии о “Галилее” Астье-Рею и о приложенных к нему исторических документах, явно подложных и нелепых. Отзыв этот, сообщенный конфиденциально председателю Французской академии, уже

в течение нескольких дней тайно волновал всех Бессмертных, с лихорадочным нетерпением ожидавших решения Астье-Рею, но тот ограничивался неопределенными ответами:

- Знаю, знаю… Я все сделаю.

И вдруг этот самый отзыв, который, как они полагали, был известен только им, напечатан сегодня утром на первой странице самой распространенной в Париже газеты с оскорбительными комментариями по адресу непременного секретаря и всей Академии.

Вот чем вызвано это волнение, этот взрыв негодования, это возмущение беззастенчивостью журналиста и глупостью Астье-Рею, подавшего повод к таким нападкам, от которых они давно отвыкли - с тех пор, как Академия стала благоразумно открывать свои двери “газетчикам”. Пылкий Ланибуар, искушенный во всех видах спорта, готов отрезать уши дерзкому писаке. Два-три собрата с трудом удерживают его.

- Перестаньте, Ланибуар!.. Шпага должна быть на перевязи, а не в руке… Ведь это ваша острота, черт возьми, хотя у нас вся Академия ею пользуется.

- Вам известно, господа, что Плиний Старший (*47) в тринадцатой книге своей “Естественной истории”… - крикнул Газан, который вошел, запыхавшись, ступая неуклюже, как слон, - что уже Плиний говорит о поддельных документах, в частности о подложном письме Приама на папирусе!..

- Господин Газан еще не расписался! - прервал его резким фальцетом Пишераль.

- Ах, виноват!..

Толстяк расписался, а затем продолжал рассказывать о папирусе, о царе Приаме, но речь его была заглушена гулом раздраженных голосов, среди которых явственно слышалось только одно слово: “Академия… Академия…” Все говорили о ней как о вполне реальном, живом существе, и каждый был убежден, что он один только знает и может выразить ее настоящее мнение. Внезапно шум затих: вошел Астье-Рею. Он расписался, совершенно спокойно положил на свое обычное место - место

непременного секретаря - свой тяжелый портфель и, подойдя к коллегам, заявил:

- Господа! Я должен сообщить вам чрезвычайно неприятную новость… Я послал в Национальную библиотеку на экспертизу пятнадцать тысяч автографов, составляющих то, что я называл своей коллекцией… И вот, милостивые государи, все они оказались подложными, все!.. Флорентийская академия права. Я стал жертвой чудовищного обмана.

Он отирал крупные капли пота, выступившие у него на лбу после тяжкого признания.

- Ну, и что же дальше, господин непременный секретарь? - вызывающе спросил кто-то.

- Что дальше, господин Данжу? Мне оставалось только обратиться в суд… что я и сделал…

Все начали протестовать, заявляя, что такой процесс невозможен, что посмешищем станет сама Академия, но Астье-Рею добавил:

- Искренне сожалею, дорогие коллеги, но решение мое бесповоротно… Впрочем, преступник уже в тюрьме, и следствие начато…

Никогда еще зал закрытых заседаний не оглашался таким ревом, каким были встречены эти слова. И, как всегда, среди самых неистовых выделялся Ланибуар. Он орал, что Академии следует избавиться от столь опасного сочлена. В первом порыве гнева некоторые академики принялись громко обсуждать его предложение. Исполнимо ли оно? Может ли Академия, скомпрометированная одним из своих членов, сказать ему: “Уходите, я беру назад свое решение… Бессмертный! Я возвращаю вас в лоно простых смертных”.

И вдруг, расслышав ли что-либо из этого препирательства или по какому-то наитию, которое порой озаряет совершенно глухих людей, старик Рею, державшийся из боязни удара в стороне, вдали от камина, изрек громко и монотонно:

- При Реставрации по мотивам чисто политическим мы исключили не менее одиннадцати членов…

Старец подтвердил эти слова кивком головы, словно призывая в свидетели своих современников - белые бюсты с пустыми глазами, расставленные на пьедесталах вдоль стен зала.

- Одиннадцать, черт возьми!.. - в наступившей тишине пробормотал Данжу.

А Ланибуар с обычным для него цинизмом воскликнул:

- Все организации, управляемые не единолично, трусливы, таков закон природы!.. Жить-то ведь надо!..

Тут Эпеншар, замешкавшийся у входа, где он толковал о чем-то с Пишералем, подошел к своим коллегам и, не повышая голоса, откашлявшись, заявил, что непременный секретарь не один виновен в этом деле, доказательством служит протокол от 8 июня 1879 года, который сейчас будет оглашен.

Пишераль тоненьким голоском, весело и скороговоркой прочел:

- "8 июня 1879 года Леонар-Пьер-Александр Астье-Рею принес в дар Французской академии письмо Ротру кардиналу Ришелье о статуте Высокого собрания. Академия, ознакомившись с этим доселе не опубликованным и в высшей степени любопытным документом, изъявляет дарителю свою признательность, постановляет включить письмо Ротру в настоящий протокол. Приводим его текстуально…"

Здесь секретарь замедлил чтение, весьма язвительно делая ударение на каждом слове:

- …"текстуально, то есть со всеми описками, встречающимися в частной переписке и только подтверждающими подлинность документа".

Озаренные тусклым светом, падавшим с застекленного потолка, все стояли неподвижно, избегая смотреть друг на друга, и слушали в полном замешательстве.

- Письмо тоже прочесть? - с улыбкой спросил Пишераль; его все это явно забавляло.

- Читайте и письмо, - ответил Эпеншар.

Но при первых же словах послышалось:

- Довольно!.. Довольно!.. Перестаньте!..

Теперь они краснели из-за послания Ротру, подложность которого бросалась в глаза. Просто школьническая подделка: неправильные обороты, половина слов в то время неизвестных… Какое ослепление! Как они могли!..

- Итак, вы видите, господа, что было бы крайне несправедливо обвинять нашего несчастного собрата… - заговорил Эпеншар и, повернувшись к непременному секретарю, стал заклинать его отказаться от скандального процесса, который затронет честь всей Академии и даже великого кардинала.

Но ни пылкость этой речи, ни эффектность жеста, которым оратор указал на пелерину кардинала-основателя, не могли сломить дикое упрямство Астье-Рею; выпрямившись во весь рост, он стоял посреди зала у столика, служившего трибуной для сообщений и докладов, и, непоколебимый, сжав кулаки, словно опасаясь, что его волю могут вырвать у него из рук, твердил:

- Ничто, слышите, ничто не изменит моего решения!

И его толстые сдвинутые пальцы гневно стучали по дереву стола.

- О господа! Я и так медлил, я сделал слишком много уступок такого рода соображениям… Поймите же, что мой “Галилей” меня душит, у меня не хватает средств скупить его, и я вижу его на витринах книгопродавцев под моим именем, свидетельствующим о моем сообщничестве с подделывателем документов.

Так чего же он хотел? Собственными руками вырвать эти запятнанные страницы из своей книги, предать их публичному сожжению. Возможность к этому предоставит ему процесс.

- Вы говорите, что нас подымут на смех, но Академия стоит высоко, ей это не страшно. А я, разоренный, осмеянный, смогу гордиться тем, что

сберег свое имя, свой труд и достоинство истории. На большее я и не претендую.

Сквозь напыщенность его речи слышались искренность и прямота, звучавшие диссонансом в этой среде, привыкшей сглаживать острые углы мягкими, как вата, компромиссами и условностями.

Внезапно педель объявил:

- Четыре часа, господа!..

Четыре часа! А относительно похорон Рипо-Бабена еще ничего окончательно не решено.

- В самом деле!.. Бедный Рипо-Бабен!.. - насмешливым тоном заметил Данжу.

- Он-то умер вовремя! - мрачно изрек Ланибуар.

Но его острота пропала даром. Педель кричал; “По местам, господа!..”, председатель звонил в колокольчик, по правую руку от него занял место хранитель печати Деминьер, а по левую - непременный секретарь Астье-Рею, овладев собой, спокойно читал отчет похоронной комиссии под несмолкавшее шушуканье присутствующих и под стук бившего по стеклам града.

- Как вы сегодня поздно! - проворчала Корантина, открывая барину дверь. На нее дворец Мазарини не производил никакого впечатления. - Ваш сынок у вас в кабинете, и барыня с ним… Проходите через архив… В гостиной полно народу.

Зловеще выглядел этот архив с разобранными полками, словно после кражи или пожара. Астье-Рею в последнее время избегал входить туда, теперь же он прошел через него, высоко подняв голову, гордясь принятым решением, своим заявлением, только что сделанным в Академии. После такого огромного напряжения воли и проявленного мужества ему стало отрадно и тепло на душе при мысли, что сын ждет его. Он не видел Поля со дня дуэли, когда, охваченный тревогой, смотрел на своего мальчика, лежавшего в постели, белее простыни, и теперь он шел к нему с радостным чувством, готовый широко раскрыть объятия, привлечь его к себе и

крепко-крепко молча прижать к своему сердцу. Но как только он вошел и увидел сына рядом с матерью, заметил, что они шепчутся, не поднимая глаз, с обычным для них таинственным видом сообщников, порыв его мгновенно утих.

- Да входите же, боже мой! - крикнула г-жа Астье; она уже надела шляпу: видимо, собиралась уходить. Потом полушутя-полусерьезно, точно представляя незнакомца, добавила; - Мой друг… граф Поль Астье!

- Здравствуйте, дорогой мэтр! - произнес Поль и поклонился.

Астье-Рею смотрел на них обоих, хмуря свои мохнатые брови.

- Граф Поль Астье?

Молодой человек, все такой же красивый, загоревший после полугодового пребывания на свежем воздухе, сообщил, что он приобрел титул римского графа, не столько для себя, сколько ради той особы, которая согласилась носить его имя.

- Ты женишься?.. - спросил отец с возрастающим недоверием. - На ком?

- На герцогине Падовани.

- Ты с ума сошел!.. Герцогиня на двадцать пять лет старше тебя!.. А потом… А потом… - Он колебался, подыскивая более учтивое выражение, и наконец резко сказал: - На женщине, которая, как всем известно, в течение нескольких лет принадлежала другому мужчине, не женятся.

- Но это не мешало нам, кстати сказать, регулярно обедать в ее доме и пользоваться ее услугами, - прошипела, закинув голову, готовая к атаке г-жа Астье.

Не отвечая жене, даже не глядя на нее, словно считая, что она не может быть судьей в вопросах чести, старик приблизился к сыну и сказал убежденно и сердечно, причем от волнения щеки у него прыгали:

- Не делай этого, Поль!.. Ради имени, которое ты носишь, не делай этого, мой мальчик, прошу тебя!

Он схватил сына за плечо и в порыве нежных чувств стал трясти его. Но молодой человек высвободился: он не любил проявлений чувствительности.

- Я не нахожу… Я держусь иного мнения… - защищался он общими фразами.

Перед непроницаемостью этого лица, перед этим бегающим взглядом, чувствуя, как далек от него сын, старик на правах главы семьи невольно повысил голос. Но, подметив улыбку, которой обменялись сын с матерью, - новое доказательство их соучастия в совершаемой подлости! - Леонар окончательно вышел из себя. Он гремел, неистовствовал, угрожал, что будет протестовать публично, напишет в газетах, что заклеймит их обоих, и мать и сына, в своих книгах. Эта угроза, по его мнению, была самой страшной. Когда он говорил о каком-нибудь персонаже давно минувших лет: “Я заклеймил его в моих книгах!” - ему казалось, что ни одна кара не идет в сравнение с этой. Однако на обоих союзников эта угроза не подействовала. Г-жа Астье, привыкшая к ней почти так же, как к перетаскиванию сундука по коридорам, ограничилась тем, что сказала, застегивая перчатки:

- Не забывайте, что рядом все слышно.

И действительно: несмотря на закрытую дверь и спущенные портьеры, из гостиной доносился гул голосов.

С трудом сдерживая гнев, Леонар Астье протянул указательный палец к самому лицу сына и прохрипел:

- Слушай меня внимательно, Поль: если то, о чем ты говоришь, свершится, мы с тобой больше не увидимся! Я не буду у тебя на свадьбе и не желаю видеть тебя у своего смертного ложа… Ты мне больше не сын… Я запрещаю тебе переступать порог моего дома, я проклинаю тебя!

Поль, отодвинувшись, потому что палец почти дотрагивался до него, невозмутимо ответил:

- Знаете, дорогой отец, проклинать, благословлять - это уже не принято в домашнем быту. Даже в театре больше не проклинают и не благословляют.

- Но зато еще бьют, негодяй! - зарычал старик и занес руку.

Послышался гневный окрик матери: “Леонар!..” - а между тем Поль ловким приемом боксера отклонил удар так же спокойно, как если бы это происходило в зале Кейзера, и, не выпуская отведенной вниз руки отца, прошептал:

- Нет, нет, этого уж я не позволю!

Старый овернец в бешенстве пытался высвободиться, но, как он ни был еще силен, его противник оказался сильнее. И в эту страшную минуту, когда отец и сын стояли друг против друга с лицами, искаженными ненавистью, обмениваясь взглядами убийц, дверь из гостиной приоткрылась и в ней показалось младенчески добродушное, улыбающееся лицо дородной дамы, разукрашенной перьями и цветами.

- Простите, дорогой мэтр! Мне нужно вам сказать два слова… Ах, и Аделаида здесь!.. И господин Поль!.. Очаровательно!.. Божественно!.. Ох!.. Ах!.. Семейная картина!..

В самом деле, это была семейная картина, вернее, картина современной семьи, расколотой глубокой трещиной. Эта трещина проходит сверху донизу сквозь все европейское общество, подрывая принципы иерархии и авторитета, и она особенно грозна здесь, под величественным куполом дворца Мазарини, где производится оценка семейных и всяких иных традиционных добродетелей, где за них выдаются награды.

16

В восьмой камере, где должно было слушаться дело Альбена Фажа, после бесконечного следствия и вмешательства влиятельных лиц, которые ставили всяческие препоны судопроизводству, давка была необычайная. Никогда в этой зале уголовного суда с выцветшими голубыми стенами и полинявшей позолотой на карнизах, пропитанной запахом нищеты и человеческого пота, не теснилось на грязных скамьях, не толпилось в проходах столько нарядной светской публики, ни разу не видели здесь столько отделанных цветами шляп, столько весенних нарядов от знаменитых портных, выделявшихся среди черных тог и беретов судей и адвокатов. Люди все прибывали, двери не переставали хлопать под напором бурного потока любопытных, тусклый свет, падавший на площадку лестницы, освещал головы, прижатые одна к другой, высоко поднятые и все же тянувшиеся вверх.

Везде знакомые, архизнакомые, надоевшие так, что хоть плачь, завсегдатаи парижских празднеств, пышных похорон и первых представлений: и Маргарита Оже в авангарде, и маленькая графиня Фодер, и красавица Генри из американской миссии. А за ними академические жрицы: г-жа Анселен, вся в лиловом, под руку со старейшиной адвокатов Раввераном; г-жа Эвиза - настоящий куст роз, окруженная черным жужжащим роем молодых начинающих адвокатов, а позади трибунала, на местах, отведенных для избранной публики, - Данжу. Он стоял, скрестив руки, возвышаясь над собранием и судьями, выставляя напоказ на фоне окна свой резко очерченный профиль старого актера, который сорок лет подряд мелькает всюду, - образец светской банальности в ее самом скучном выражении. Кроме Астье-Рею и барона Юшенара, вызванных в качестве свидетелей, он был единственным академиком, имевшим смелость явиться в суд, не убоявшимся даже речи защитника Альбена Фажа, заядлого насмешника Маржери, который одним своим гнусавым голосом возбуждал хохот публики и судей.

Будет над чем посмеяться! Это чувствовалось в воздухе, угадывалось в шаловливо склоненных судейских беретах, в блеске глаз, в многозначительных взглядах и улыбках, которыми издали обменивались

между собой присутствующие. Столько забавных историй передавалось в публике относительно любовных похождений горбуна, только что занявшего место на скамье подсудимых! Уродец, подняв длинную напомаженную голову, из-за решетки окинул зал одним из тех ястребиных взглядов, в значении которых никогда не ошибаются женщины. Рассказывали о каких-то компрометирующих письмах, об объяснениях, представленных обвиняемым, о том, что он назвал имена двух-трех светских львиц, - имена, всем известные, фигурирующие во всех грязных делах. Один экземпляр этой объяснительной записки переходил из рук в руки на скамье журналистов: то была наивная и претенциозная автобиография, в которой глупое бахвальство уродца переплеталось с тщеславием самоучки, но в которой не было ни намека на ожидавшиеся разоблачения.

Фаж сообщал господам судьям, что родился он близ Васси (Верхняя Марна) и был прямой, как все люди, - это утверждает каждый горбун, - но в пятнадцать лет упал с лошади, повредил себе позвоночник и стал горбатым. Как большинство калек, он медленно развивался в половом отношении, влечение к женщинам явилось у него поздно, но овладело им с невероятной силой. Это было в то время, когда он работал у одного книгопродавца в пассаже Панорам. Уродство мешало его победам, и он стал искать способ заработать много денег. История его похождений, чередуясь с повествованием о подлогах, о приемах, к которым он прибегал, о составе чернил, обработке пергамента, пестрела следующими названиями глав: “Моя первая жертва”, “Анжелика-брошюровщица”, “За пунцовую ленту”, “Деревенская ярмарка”, “Знакомство с Астье-Рею”, “Таинственные чернила”, “Вызов химикам Французской академии”.

Чтение этой записки вызвало недоумение: как мог непременный секретарь Французской академии, а вместе с ним официальная наука и литература позволить так себя дурачить в продолжение двух-трех лет невежественному калеке, набившему себе голову всяким библиотечным хламом, обрывками плохо переваренных книг? В этом-то и заключался комизм дела Альбена Фажа и причина такого стечения публики. Люди явились сюда посмотреть на Академию, пригвожденную к позорному столбу в лице Астье-Рею, которого все присутствующие искали глазами в первом ряду свидетелей. Он сидел неподвижно, погруженный в свои мысли, еле отвечал, не поворачивая головы, на льстивые пошлости Фрейде, стоявшего сзади него в черных перчатках, с широким крепом на шляпе: он

носил траур по только что умершей сестре. Вызванный в качестве свидетеля со стороны защиты, милейший кандидат боялся, как бы это не повредило ему во мнении учителя, и он оправдывался, объясняя, что встречал этого прохвоста у Ведрина. Но шепот его тонул в шуме залы, в монотонном гудении суда, вызывающего стороны и сбывающего с рук одно дело за другим под непрестанно повторяющиеся возгласы: “Отложить на неделю, отложить на неделю!..” Эти восклицания падали, как удары гильотины, обрывая возражения адвокатов и жалобные мольбы несчастных, раскрасневшихся, утиравших пот со лба перед решеткой: “Но позвольте, господин председатель…” “Отложить на неделю!..”

Порой в глубине залы раздавался отчаянный вопль, руки растерянно поднимались.

- Я здесь, господин председатель!.. Только не могу подойти!.. Очень много народа!

- Отложить на неделю!

Кому довелось быть свидетелем таких проявлений усердия, такой быстроты в работе символических весов, тот навсегда сохранит высокое мнение о правосудии. Словно присутствуешь при отпевании “на почтовых” какого-нибудь нищего священником чужого прихода.

Наконец председатель провозгласил:

- Дело Альбена Фажа!

Мертвая тишина водворилась не только в зале, но и на лестнице, где люди влезали на скамейки, чтобы лучше видеть. Затем после краткого бормотания перед судейским столом свидетели один за другим потянулись между тесными рядами тог в отведенную для них унылую залу, пустую и мрачную, с каменным стершимся полом, выходившую окнами в узенький переулок. Астье-Рею, которого должны были вызвать первым, не вошел туда, он шагал взад и вперед по темному коридору между залами. Фрейде хотел остаться с ним, но он глухо сказал:

- Нет, нет!.. Оставьте меня… Я хочу побыть один!..

Сконфуженному кандидату пришлось присоединиться к другим

свидетелям: разбившись на маленькие группы, они беседовали между собой. Здесь, были барон Юшенар, палеограф Бос, химик Дельпеш, эксперты-графологи и хорошенькие девицы, чьи портреты украшали стены в комнате Альбена Фажа, - они безмерно радовались рекламе, которую создаст им этот процесс, громко хохотали, демонстрировали свои умопомрачительные шляпки, составлявшие резкий контраст с полотняным чепцом и вязенками находившейся тут же привратницы Счетной палаты. Ведрин был тоже вызван в суд; Фрейде подсел к нему на широкий подоконник открытого окна. Попав в круговорот, унесенные двумя встречными потоками, которые так легко разлучают в Париже людей, товарищи не видались с прошлого лета и свиделись только на похоронах бедняжки Жермен. Ведрин пожимал руки своему другу, расспрашивал о здоровье, душевном состоянии после постигшего его несчастья. Кандидат пожал плечами:

- Тяжко, конечно, но что прикажешь делать! Я примирился…

Ведрин вытаращил глаза, потрясенный таким диким эгоизмом.

- Черт возьми! Ты только подумай: два раза за год они меня проваливают!..

Единственным настоящим постигшим Фрейде несчастьем был его провал при баллотировке на кресло Рипо-Бабена, ускользнувшее от него так же, как и кресло Луазильона… Наконец он догадался и глубоко вздохнул… Ах да!.. Его Жермен… Много ей было хлопот в последнюю зиму из-за этих злополучных выборов… Два званых обеда в неделю; до двенадцати, до часа ночи она разъезжала на своем кресле с одного конца гостиной на другой. Она положила на это свои последние силы, она отдалась борьбе с еще большим увлечением, с еще большим подъемом, чем брат. И перед смертью, перед самой смертью, когда она уже не могла говорить, ее бедные, сведенные судорогой пальцы еще что-то подсчитывали, теребя простыню.

- Да, милый мой, она скончалась, занимаясь подсчетами, взвешивая мои шансы на это проклятое кресло… Боже мой! Хотя бы только ради нее я добьюсь этого кресла, попаду в Академию наперекор им, в память дорогой покойницы.

Он внезапно остановился, затем изменившимся, упавшим голосом добавил:

- Впрочем, я не знаю, для чего я тебе это говорю… Но, с тех пор как они вбили мне это в голову, я уже ни о чем другом не могу думать… Сестра моя умерла, а я почти ее не оплакивал… Надо было делать визиты, “вымаливать кресло в Академии”, как кто-то выразился. Я сохну… я гибну… Это настоящее безумие…

Резкость слов, взволнованный тон, придававший им еще большую едкость, - все это было так не похоже на Фрейде, обычно такого кроткого, любезного, жизнерадостного. Растерянный взгляд, страдальческая морщина на лбу, горячие ладони изобличали страсть, манию. Однако встреча с Ведрином, казалось, подействовала на него благотворно, он стал расспрашивать приятеля с неподдельной сердечностью:

- Что поделываешь?.. Как поживаешь?.. Как жена, дети?

Художник отвечал со своей обычной спокойной улыбкой. Слава богу, все семейство чувствует себя прекрасно. Малютку собираются отнять от груди. Мальчишка все так же красив и с прежним нетерпением ждет столетия старика Рею. А сам он работает. Две картины выставил в Салоне в этом году. Их там неплохо поместили, и проданы они были довольно выгодно. Зато один из кредиторов, столь же неосторожный, сколь и свирепый, сцапал за долги паладина, и паладин, перекочевывая с места на место, загромоздив сперва нижний этаж великолепного дома на Римской, переехав потом на конюшню в Батиньоль, теперь попал в коровник в Левалуа, куда они всей семьей время от времени ходят навещать его.

- Вот она, слава! - добавил, смеясь, Ведрин, но тут пристав вызвал свидетеля Астье-Рею.

Силуэт непременного секретаря на мгновение обрисовался в пыльной полосе света, падавшего из окна судейской залы. Астье держался прямо и спокойно, только спина его, за которой он не следил, и широкие вздрагивающие плечи выдавали его глубокое волнение.

- Бедный Крокодил! - прошептал скульптор. - Он проходит через тяжкие испытания… Эта история с автографами, женитьба сына…

- Поль Астье женился?

- Три дня тому назад, на герцогине… Нечто вроде морганатического брака. Присутствовали мамаша молодого человека, четыре свидетеля, а больше никого не было. Без меня, разумеется, не обошлось: какой-то рок заставляет меня быть участником всех событий в семье Астье.

Ведрин рассказал, как он был потрясен, увидев в зале мэрии герцогиню Падовани, бледную как смерть, отчаявшуюся, в ореоле седых волос, своих чудесных волос, которые она уже не считала нужным красить. Рядом с ней его сиятельство Поль Астье, улыбающийся, холодный и все такой же красивый… Все молча смотрят друг на друга, не знают, что сказать. Наконец один из чиновников мэрии, взглянув на старых дам, счел своим долгом заметить, расшаркиваясь с любезной улыбкой: “Мы ждем невесту…” “Невеста здесь”, - ответила герцогиня, приближаясь с высоко поднятой головой.

- Из мэрии, где дежурный помощник мэра был настолько тактичен, что воздержался от какой-либо речи, мы поехали в монастырь на улице Вожирар. Аристократическая церковь, вся вызолоченная, убранная цветами, залитая светом ярко горящих люстр, - и ни одной души. Только новобрачные и свидетели, разместившиеся в одном ряду стульев, слушали, как его высокопреосвященство папский нунций Адриани бормотал под нос длиннейшую проповедь, читая ее по книге с раскрашенными картинками. И до чего было забавно, когда этот светского вида прелат, с длинным носом и тонкими губами, в лиловой, обтягивающей его худые плечи пелерине, говорил о “чести супруга”, о “юных прелестях супруги”, искоса бросая ехидный и злобный взгляд на жалкую чету, преклонившую колена на бархатной скамейке! Потом - выход из церкви, холодное прощание под сводами монастырька и вздох облегчения, вырвавшийся у герцогини: “Слава богу! Кончилось!” - вырвавшийся с такой безнадежностью, словно она измерила глубину пропасти и бросается в нее с открытыми глазами, только чтобы сдержать данное ею слово.

- Да, немало я видел на своем веку мрачного и прискорбного, - продолжал Ведрин, - но ничто меня так не потрясло, как свадьба Поля Астье.

- Ну и негодяй же наш молодой друг! - сквозь зубы процедил Фрейде.

- Да, это один из наших красивых struggle for lifer'ов.

Скульптор повторил это слово и сделал на нем ударение; struggle for lifer'ов - так он называл новую породу мелких хищников, для которых "борьба за существование", это замечательное открытие Дарвина, служит лишь научным обоснованием всякого рода подлостей.

- Как бы то ни было, а теперь он богат… Его желание исполнилось. На этот раз нос не свел его с прямого пути! - заметил Фрейде.

- Подождем - увидим… Герцогиня не из покладистых, а у него, когда он был в мэрии, взгляд предвещал недоброе!.. И если старая жена будет ему в тягость, мы еще, быть может, увидим на скамье подсудимых сына и внука Бессмертных.

- Свидетель Ведрин! - во весь голос крикнул пристав.

Взрыв хохота шумливой толпы, теснившейся в зале, донесся из раскрывшихся дверей.

- Ну и весело у них там! - заметил полицейский, стоявший в коридоре на карауле.

В комнате свидетелей, мало-помалу опустевшей во время беседы двух друзей, остались теперь только Фрейде и привратница Счетной палаты, совсем растерявшаяся от предстоящего вызова в залу суда и все время машинально теребившая завязки своего чепца. Что касается кандидата, то он, напротив, ждал этого единственного случая публично воскурить фимиам Французской академии и ее непременному секретарю в кратком слове, которое будет напечатано в газетах и явится как бы вступлением к его речи при приеме в Академию. Оставшись один - старуху уже вызвали, - кандидат ходил большими шагами по комнате и останавливался у окна, округляя периоды, плавно вытягивая руки в черных перчатках. А напротив суда, в мрачном и ветхом, с обвалившейся штукатуркой домишке, от которого так и несло ютившимся там отвратительным, постыдным ремеслом, его жесты истолковали совсем по-иному… Голая жирная рука отдернула розовую занавеску и ответила едва уловимым двусмысленным приглашением… "Ох уж этот Париж!.." Лицо будущего академика залила краска стыда. Он поспешил отойти от окна и укрылся в коридоре.

- Теперь говорит прокурор, - прошептал полицейский, меж тем как в душной до одурения зале гремел притворно негодующий голос:

- Вы злоупотребили невинной страстью старика…

- Как же это?.. А меня?.. - невольно воскликнул Фрейде.

- Про вас они, должно быть, забыли…

”Вот так всегда!..” - с грустью подумал бедняга.

Громовым хохотом встретила собравшаяся публика разбор подложной коллекции Мениль-Каз: письма королей, пап, императриц, маршала Тюрена, Бюффона, Монтеня, Ла Боэси, Клемансы Изор (*48), и при каждом новом имени из этого фантастического списка, свидетельствовавшего о чудовищной наивности официального историка, о глупейшем положении всей Французской академии, одураченной гномом, веселье все росло. Фрейде не в состоянии был выносить глумливый хохот толпы, насмехавшейся над его покровителем и учителем Астье-Рею, тем более что этот смех задевал и его самого, наносил тяжкий удар его кандидатуре. Он выбежал из коридора, спустился вниз, долго бродил по дворам, по тротуару у ограды и наконец смешался с толпой, выходившей из суда. Здесь уже суетились выездные лакеи и слышался стук экипажей. В догорающем свете чудесного июньского дня открывающиеся розовые, белые, лиловые и зеленые зонтики казались гигантскими цветами всевозможных оттенков. Взрывы хохота слышались отовсюду, как при выходе из театра после забавной пьесы… Ну и влип же этот горбун - пять лет тюрьмы и возмещение убытков! А его адвокат! Всех уморил!.. Маргарита Оже наливалась своим знаменитым смехом из второго действия “Мюзидоры”: “Ах, дети мои!.. Ах, дети мои!..” А Данжу, провожая до кареты г-жу Анселен, заявил громко и цинично:

- Это плевок в лицо Академии… Прямо в лицо… И до чего ловко пущенный!..

Леонар Астье уходил один, не поворачивая головы. Он слышал все разговоры, хотя люди предостерегали друг друга:

- Тише, он здесь!

Он понимал, что теряет уважение окружающих, - весь Париж знал, как его осмеяли, и потешался над ним.

- Обопритесь на мою руку, дорогой учитель.

Повинуясь порыву своего доброго сердца, Фрейде догнал старика.

- О друг мой! Как мне дорого ваше участие! - сказал Астье глухим растроганным голосом.

Некоторое время они шли молча. Деревья на набережной бросали тени, и тени эти играли на камнях мостовой. Уличный шум и всплески воды весело звучали в воздухе. Это был один из таких дней, когда казалось, что для человеческих страданий не остается места.

- Куда мы идем? - спросил Фрейде.

- Куда хотите… только не ко мне, - ответил старик, охваченный детским страхом при мысли о сцене, которую ему закатит жена.

Они пообедали вдвоем в Пуэн-дю-Жур после продолжительной прогулки по берегу реки. Сочувственные слова ученика и прелесть летнего вечера благотворно повлияли на Астье-Рею. Он возвращался домой поздно ночью, успокоенный, оправившийся после пятичасовой пытки на скамье восьмой камеры, после пяти часов, в течение которых ему, связанному по рукам и ногам, пришлось сносить оскорбительный смех толпы и едкое, словно серная кислота, красноречие адвоката.

- Смейтесь, смейтесь, обезьяны бесхвостые!.. Потомство нас рассудит…

Так утешал он себя, проходя по длинным дворам дворца Мазарини, где все уже спало. Огни были потушены, пролеты лестниц зияли справа и слева большими черными прямоугольниками. Поднявшись ощупью, он бесшумно пробрался в свой кабинет, не зажигая света, как вор. Со времени женитьбы Поля и своего разрыва с сыном он спал здесь на каком-то импровизированном ложе, чтобы избежать этих непрекращающихся ночных разговоров, которые всегда кончаются победой женщины, даже если она перестала быть женщиной; у нее более крепкие нервы, поэтому

мужчина в конце концов готов уступить, все обещать, лишь бы его оставили в покое, дали уснуть!

Спать!.. Никогда еще он не чувствовал такой потребности в сне, как по окончании этого бесконечного, утомительного, полного волнений дня. Он вошел в свой кабинет, как в тихую обитель, в надежде успокоиться и уснуть, но вдруг различил у окна чью-то фигуру.

- Ну что ж! Теперь вы довольны…

Его жена! Она ждала его, подстерегала, ее змеиное шипение, послышавшееся во мраке кабинета, приковало его к месту.

- Ну вот, вы добились этого процесса… Вы хотели, чтобы вас подняли на смех, и достигли своей цели: вы стали всеобщим посмешищем, вам показаться нигде нельзя… Стоило кричать, что ваш сын позорит имя Астье! Это имя по вашей милости стало теперь синонимом невежества и тупоумия, его нельзя произнести без смеха… И чего ради, скажите на милость?.. Чтобы спасти ваши труды… Дурак вы, дурак! Кому известны ваши труды? Кого может интересовать, подложны ваши материалы или нет… Вы же отлично знаете, что вас не читают…

Слова у нее так и сыпались, так и сыпались, ее визгливый голос доходил до самых высоких нот. А для него это было продолжением только что пережитых терзаний, и, как тогда, в суде, он и теперь выслушивал оскорбления молча, без угрожающих жестов, словно находясь перед лицом недосягаемого, непререкаемого авторитета. Но как жесток был этот невидимый рот, как он кусал, как ранил, выискивая самые чувствительные места, впиваясь зубами в его достоинство человека и писателя!.. Нечего сказать, его книги!.. Да неужели он воображает, что благодаря им он попал в Академию? Ей одной он обязан своим зеленым мундиром! Какие только интриги, какие хитрости она не пускала в ход, чтобы преодолевать препятствия одно за другим!.. Она пожертвовала своей молодостью, она выслушивала объяснения в любви и принимала ухаживания чересчур предприимчивых шамкающих старичков, возбуждавших в ней отвращение…

- Ничего не поделаешь, милый мой, пришлось на это пойти… Ведь чтобы попасть в Академию, нужен талант, а у вас его нет… Или знатное

имя, блестящее положение… Всего этого вы были лишены… Тогда за это взялась я!..

Боясь, как бы он не усомнился в ее словах, как бы не подумал, что они вызваны раздражением выведенной из себя женщины, оскорбленной в своем супружеском достоинстве, в слепой любви к сыну, она ставила все точки над “i”, указывала все подробности его избрания, напомнила мужу его знаменитую остроту об ее вуалетках, пахнувших табаком, тогда как он никогда не курил…

- Эта острота прославила вас больше, чем все ваши книги…

У него вырвался тяжкий, глубокий стон, глухой стон человека, у которого распорот живот и который обеими руками пытается удержать свои внутренности. А визгливый голос продолжал, как ни в чем не бывало:

- Ну и уложите, боже мой, раз навсегда ваш сундук, чтобы духу вашего здесь не было!.. Поль, к счастью, богат… Он будет высылать вам на кусок хлеба. Надеюсь, вы сами понимаете, что теперь не найдется ни одного издателя, ни одного журнала, который согласился бы печатать ваши благоглупости, и только мнимое бесчестье Поля позволит вам не умереть с голода.

- Нет, это уж слишком! - пробормотал несчастный старик, уходя, убегая от этой бичующей его ярости.

Хватаясь за стены, пробираясь по коридорам, по лестницам, по гулким, пустым дворам, он повторял, чуть не плача; “Это уж слишком… Это уж слишком…”

Куда он идет?

Прямо, все прямо, как во сне. Он пересекает площадь, останавливается на середине моста. Ночная прохлада бодрит его. Он садится на скамейку, снимает шляпу и засучивает рукава, чтобы легче было рукам. Мало-помалу мерный плеск воды успокаивает его, он приходит в себя, но лишь для того, чтобы все припомнить, и от этого душевная боль еще усиливается. Что это за женщина! Что это за чудовище! Он прожил с ней тридцать пять лет и так

и не узнал ее до конца! Дрожь отвращения пробегает по его телу при воспоминании о тех гнусностях, которые он только что услышал. Она ничего не пощадила, ничего не оставила в нем живого, даже его гордости, которая его поддерживала, веры в свои труды, благоговения перед Академией. При мысли об Академии он невольно оборачивается. В конце безлюдного моста, простирающегося, подобно широкой аллее, до подножия исторического здания, дворец Мазарини казался неясной громадой, выделяясь в сумраке ночи своим портиком и куполом, как на переплетах изданий Дидо, приковавших его внимание в дни молодости… О, этот собор, эта каменная глыба - обманчивая цель, причина всех его несчастий!.. Здесь он нашел себе спутницу жизни, на которой женился без любви, без радости, только за обещание кресла в Академии. И он получил это столь желанное кресло! Теперь он знает, какими средствами… Какая мерзость!..

Шаги и смех раздаются на мосту: это возвращаются в Латинский квартал студенты со своими возлюбленными. Старик, боясь, что его узнают, встает и облокачивается на перила. Шумная ватага, проходя мимо, нечаянно задевает его, а он с горечью думает, что никогда не веселился, никогда не проводил так вечера, беззаботно распевая под звездным небом. Гонимый честолюбием, он тянулся к куполу этого храма - и что получил взамен? Ничего. Ни-че-го!.. Уже давно, в день избрания, после речей и обмена любезностями, у него появилось ощущение пустоты и обманутой надежды. Возвращаясь в фиакре домой, он говорил себе: “Неужели? Значит, я туда попал?.. И это все?” С тех пор, постоянно обманывая себя, повторяя вместе со всеми коллегами, что это хорошо, чудесно, что лучше и быть не может, он в конце концов уверовал в Академию… Но завеса спала, он прозрел, и теперь ему хотелось во всю силу легких крикнуть французской молодежи:

- Не верьте!.. Вас обманывают!.. Академия - это только приманка, мираж! Идите своим путем, творите вне ее. Главное - не жертвуйте ей ничем, потому что она не в силах дать вам то, чего у вас нет, - ни таланта, ни славы, ни чувства удовлетворения… Академия не опора, не пристанище. Это пустой внутри кумир, религия, не дающая утешения! Тяжкие житейские невзгоды настигают вас там так же, как и всюду… Люди кончали с собой под этим куполом, сходили с ума! Тот, кто взывал к ней из глубины своей скорбной души, простирал руки, утратив веру в любовь или устав проклинать, обнимал только тень и пустоту… пустоту.

Старый педагог произносил это вслух, с непокрытой головой, впившись обеими руками в парапет, как когда-то в классе впивался в край кафедры. Внизу струится река, она чернеет во мраке между двумя рядами фонарей, которые беспрерывно мигают живым, но безмолвным светом, тревожным, как все, что движется, пристально смотрит и не подает голоса. С берега доносится голос пьяного - он проходит мимо моста и, фальшивя, орет во всю глотку: “Как поутру *прошнется* Купидон…” Должно быть, подгулявший овернец возвращается на свою баржу с углем. Старый академик вспоминает полотера Тейседра и его стаканчик холодного вина. Ему ясно представляется, как тот утирает рукавом губы: “Ничего нет лучше на *швете*, чем *штаканчик* холодненького винца!..” Даже такой скромной, безыскусственной радости он не знал и думает сейчас о ней с завистью. Одинокий, беспомощный, лишенный отрады поплакать у кого-нибудь на плече, он понимает, что эта мерзавка права и что нужно раз навсегда уложить сундук.

Под утро полицейские нашли на скамейке Моста искусств широкополую шляпу - одну из тех шляп, которые сохраняют на себе отпечаток личности владельца. В ней лежали массивные золотые часы и визитная карточка, на которой значилось: “Леонар Астье-Рею, непременный секретарь Французской академии”, а поперек шла строчка карандашом: “Я умираю по доброй воле…” О да, по доброй воле!.. Когда утром, после долгих поисков, лодочники вытащили его из широких петель металлической сетки, окружавшей женские купальни неподалеку от моста, еще яснее, чем эти несколько слов, написанных крупным, твердым почерком, говорили о бесповоротном решении умереть выражение его лица, его стиснутые зубы, его упрямо выдающаяся вперед челюсть. Тело академика отнесли сначала на спасательную станцию, куда явился правитель канцелярии Французской академии, чтобы опознать его. Не первого непременного секретаря вытаскивали из Сены: то же случилось и во время Пишераля-отца и почти при таких же обстоятельствах. Поэтому и Пишераль-сын не был очень взволнован, а скорее с любопытством смотрел, как на широком берегу реки блестит, точно академический жетон, голый череп одетого в сюртук утопленника.

Куранты дворца Мазарини пробили час, когда служители спасательной станции тяжелым шагом вошли с носилками под арку, оставляя на дороге зловещие мокрые следы. У лестницы Б они остановились, чтобы перевести дух. Над двором, залитым солнцем, сиял большой квадрат голубого неба.

Они приподняли холст, накрывавший носилки, и лицо Леонара Астье-Рею в последний раз предстало глазам его коллег из комиссии по составлению словаря, прервавших заседание в знак траура. Они стояли вокруг, обнажив головы, не столь опечаленные, сколь потрясенные и негодующие. Останавливались и рабочие, мелкие служащие, подмастерья, пересекавшие в этот час проходные дворы Академии, соединяющие улицу Мазарини с набережной. Среди них оказался и кандидат Фрейде, - утирая глаза, оплакивая своего учителя, своего дорогого учителя, он не без стыда должен был признаться себе, что думает сейчас о вновь освободившемся кресле в Академии.

В это самое время старик Рею выходил на свою обычную прогулку после завтрака. Он ничего не знал; он как будто удивился, с последних ступенек лестницы увидев толпу, и подошел посмотреть, хотя растерявшиеся академики пытались преградить ему дорогу. Понял ли он? Узнал ли? Лицо его осталось неподвижным, глаза ничего не выражали, как и глаза Минервы во дворе под бронзовой каской. Потом, насмотревшись на покойника, пока опускали полосатый холст на его жалкое лицо, он удалился, прямой и гордый, сопровождаемый своей огромной тенью, - настоящий Бессмертный! - покачивая головой и как бы говоря:

”И это я тоже видел!”

ПРИМЕЧАНИЯ

29 января 1635 года кардинал Ришелье узаконил уже существовавшее объединение писателей и эрудитов, дав ему название “Французская академия”; перед новым ученым обществом была поставлена задача “усовершенствовать французский язык”, создав его словарь, грамматику, а также риторику и поэтику. В 1795 году Конвент создал Французский институт, куда наряду с Французской академией вошли Академия надписей, Академия моральных и политических наук, Академия изящных искусств и Академия наук (естественных и точных). Но “святая святых” была по-прежнему Французская академия; считалось, что сорок ее кресел могут занимать лишь величайшие писатели и ученые страны, по

достоинству носящие официальный титул академика - “Бессмертный”.

И все же, по существу, в эпоху Доде Академия была учреждением мертвым. В год ее двухсотпятидесятилетия, в 1885 году, когда умер академик Виктор Гюго, в академических креслах из сколько-нибудь значительных писателей и мыслителей сидели только Дюма-сын, Ипполит Тэн и Ренан, а из ученых - великий Луи Пастер. Имена остальных бессмертных давно уже канули в Лету. Живые силы французской литературы и искусства не вливались в дряхлые вены Академии: Роден, Эдмон Гонкур, Флобер пренебрегали ею, Мопассан отверг предложение выставить свою кандидатуру, Золя проваливали несколько раз при баллотировке.

Доде разделял пренебрежительное отношение друзей к Академии. После того как 15 ноября 1876 года его роман “Фромон и Рислер” получил академическую премию, стали поговаривать о возможности избрания писателя. Г-жа Доде ничего не имела против, но Доде отмалчивался и так и не выставил своей кандидатуры.

Отношение Доде к Академии определилось уже давно. Он выразил его и в новелле “Признания академического мундира”, и в очерке, опубликованном в “Журналь офисьель”, где рассказывал об унижениях, ценой которых Альфред де Виньи домогался академического кресла, и в заключение писал: “Но в наши дни вряд ли кто-нибудь даст за это такую цену”. В 1883 году, после выхода “Евангелистки”, многие академики снова предложили Доде выставить свою кандидатуру, но писатель насторожился. Одна, казалось бы, незначительная деталь задела его самолюбие. Встретившись с ним на одном литературном обеде, знаменитый водевилист, “бессмертный” Эжен Лабиш, больше всех уговаривавший Доде занять академическое кресло, вдруг начал бегать от писателя. “Это было нелепо: я ковылял за ним, а он от меня удирал. Мы были похожи на клоунов!” - рассказывал позже Доде. Оказывается, автор “Соломенной шляпки” испугался, что Доде станет просить поддержать его кандидатуру.

Вскоре шансы Доде начали обсуждать и газеты. Литератор Альбер Дельпи, добивавшийся академического “мундира с пальмами”, напечатал 22 мая в газете “Пари” статью под заглавием “Диалог портретов”. В ней портреты Шатобриана, Ламартина и других знаменитостей обсуждали, достоин ли Доде войти в Академию. Эта желчная стряпня окончательно

рассердила обычно добродушного писателя. Теперь уже и главная сторонница Академии, г-жа Доде, советовала мужу не выставлять своей кандидатуры. Но этим Доде не удовольствовался.

”По поводу статьи, появившейся 22 мая в газете “Пари” и подписанной Альбер Пти, г-н Альфонс Доде, сочтя себя оскорбленным, обратился к своим друзьям, г.г. Полю Арену и Морису Гуве, с просьбой, чтобы те от его имени потребовали у г-на Дельпи удовлетворения с оружием в руках.

Г-н Дельпи назвал своими свидетелями г.г. Шарля Лорана и Гастона Жоливе. Эти господа от имени г-на Дельпи согласились на требуемое удовлетворение.

Встреча состоялась вчера в Везине.

В качестве орудия были выбраны шпаги.

При первом же выпаде г-н Дельпи получил удар шпагой, которая прошла через его предплечье; свидетели и врачи после совещания объявили, что продолжать поединок невозможно.

Париж, 26 мая 1883 г.

От имени г-на Доде - Гуве, Поль Арен.

От имени г-на Дельпи - Ш.Лоран, Гастон Жоливе”.

Таков протокол этой дуэли - единственного следствия всех соблазнов, какими манила Доде Академия. Однако в следующем году драматург Дусе, историк Буассье и критик Брюнетьер опять стали предлагать Доде выставить свою кандидатуру. Но как раз в это время Академия совершила очередную бестактность, официально отказавшись прислать своих представителей на открытие статуи Жорж Санд в Люксембургском саду - под тем предлогом, что писательница не принадлежала к числу Бессмертных. Доде высоко чтил замечательную романистку и, возмущенный действиями Академии, напечатал в “Фигаро” письмо:

”Я не выставлял, не выставляю и никогда не выставлю своей кандидатуры в Академию.

Альфонс Доде.

Париж, 31 октября 1884 г.”.

Среди всех этих перипетий Доде приходит в голову замысел романа, в котором отразилось бы его отношение к Академии, и даже возникает название будущей книги - “Бессмертный”.

Эдмон Гонкур записывает в дневнике 18 января 1884 года: “Вчера, в четверг, Доде рассказывал про роман, который он хочет написать об Академии и который предполагает назвать “Бессмертный”. Вот его замысел. Дурак, посредственность, его блестящая карьера академика от начала до конца будет сделана, - причем он об этом и не подозревает, - его умницей женой. Между ними вспыхнет ссора, во время которой она откроет ему женскую правду о нем, - историю возвеличения ничтожества, после чего - вероятно, по примеру своего коллеги Оже [посредственного критика, покончившего с собой из-за издевательств прессы над его избранием в Академию по прямому приказу короля Карла X] - он бросится с Моста искусств в Сену”. Таким образом, первоначально Доде хотел лишь развить сюжет рассказа “Признания академического мундира”. Однако основные идеи романа ясны были писателю с самого начала. В черновой тетради, относящейся к роману, он делает такую заметку: “В академическом романе прежде всего дать почувствовать ничтожность всего этого. Полную ничтожность. А ведь это стоило стольких усилий, низостей, мешало говорить, думать, писать. И все, едва они туда попадут, испытывают то же чувство пустоты, но скрывают его от самих себя, строят из себя счастливцев, твердят повсюду: “Даже представить себе нельзя, как это прекрасно” - и подыскивают, вербуют новых приспешников. Комедия, которую они ломают для окружающих. Это и еще идолопоклонство женщин, которые создали их, ползанье на брюхе перед куском дерева, из которого они своими руками вырезали бога”.

Однако, обдумывая замысел, Доде подвергал его изменениям. Уже 9

апреля того же года Гонкур записывает: “Он стал говорить о замысле своего романа, план которого он, к моему большому сожалению, переделал; роман называется теперь уже не “Бессмертный”, он превратился в “трехэтажную махину” и получил наименование “Развод в великосветском обществе”.

Однако ни в 1884 году, ни в последующие годы Доде, отвлеченный работой над “Сафо” и “Тартареном на Альпах”, не приступил к осуществлению своего замысла. Затем его отвлек план создать книгу о “новой породе мелких хищников, которые воспользовались законом Дарвина… для оправдания всевозможных низостей… Я работал над этим уже несколько месяцев, но тут во Франции вышел перевод замечательного романа Достоевского “Преступление и наказание”, и оказалось, что это именно та книга, которую я собирался написать, да еще принадлежащая перу гения…” (Предисловие к драме “Борьба за существование”). Но работа над ненаписанной вещью подарила Доде образ циничного “борца за существование” Поля Астье - “сплав нескольких молодых искателей удачи, которых я знавал”, по словам автора. Так тема Академии сплелась с темой алчности и цинизма, разъедающих общество. Доде отлично понимал значение этой второй темы. Позднее он заметил в интервью, данном по поводу шума, поднятого критиками вокруг “Бессмертного”: “В книге не хотят видеть ничего, кроме Академии. Почти совсем упускают из виду остальное, все, что касается “общества”, “света” и его верхов”.

В основу своей фабулы Доде, как и позднее, в “Порт-Тарасконе”, положил подлинные события. Известный геометр, член Академии наук Мишель Шаль много занимался историей математики; его страстью к историческим исследованиям воспользовался мошенник Врен-Люка, который продал ученому по частям “коллекцию” поддельных автографов многих знаменитостей XVI-XVII веков, выманив у него общим счетом двести тысяч франков. Шаль воспользовался “новыми документами” с лжепатриотической целью: он вознамерился приписать Паскалю многие открытия, сделанные Ньютоном. Фальсификация была разоблачена, судебный процесс, который возбудил Шаль, наделал много шуму. В интервью Доде говорил: “История с автографами восходит к нашумевшему делу, происшедшему с Мишелем Шалем в 1868 году, и воспроизводит его до такой степени точно, что даже упомянутое в “Бессмертном” подложное письмо Ротру - это то самое письмо, которое Мишель Шаль пожертвовал Академии и оригинал которого до сих пор находится в ее архивах”.

Весной 1888 года роман был напечатан в газете “Иллюстрасьон”, а летом вышел отдельной книгой с посвящением Филиппу Жилю, сотруднику газеты “Фигаро” и драматургу. Критика встретила “Бессмертного” в штыки: в нем пытались усмотреть “роман с ключом”, то есть памфлет на определенных лиц, скрывающихся под именами персонажей. Доде категорически это отрицал. Безусловно, герои книги имеют своих прототипов. Так, например, Люсьен Доде пишет, что история герцогини Падовани и князя д’Атиса воспроизводит историю некоей весьма высокопоставленной дамы времен империи; прототипом старика Рею был восьмидесятитрехлетний художник Ленуар, который на курорте Нери много рассказывал Доде об императрице Жозефине, о великом трагическом актере Тальма, о своем учителе Давиде и после каждого рассказа прибавлял: “Я сам это видел”. Однако никаких карикатур на определенных лиц в романе нет, и Доде говорил в интервью чистую правду: “Я ни за кем не иду на буксире. Я люблю литературу ради нее самой”.

Лишь немногие критики отдали должное роману, но среди них были такие, как Анатоль Франс, который в своей статье в газете “Тан” назвал книгу Доде “остроумной и трагической, живой, энергичной, изысканной, очаровательной, полной силы и изящества”.

По-русски роман выходит почти одновременно с французским изданием. В 1888 году его печатают два журнала: “Русская мысль” (NN 5-7) и “Северный вестник” (NN 6-8), а журнал “Русский вестник” публикует его в трех выпусках своих приложений (кн. VI-VIII, под названием “Один из бессмертных”). В том же году появляются пять книжных изданий: напечатанный в журнале перевод М.Н.Ремезова выпускает отдельным томом редакция журнала “Русская мысль”, в серии “Книги недели” роман выходит под названием “Ученый муж”, в издательстве товарищества “Общественная польза” - под названием “Один из бессмертных” и, наконец, под названием “Бессмертный” - в издательствах С.Добродеева и В.В.Комарова. В дальнейшем роман входил в оба предреволюционных Собрания сочинений А.Доде и многократно переиздавался. В настоящем томе БВЛ текст печатается по Собранию сочинений А.Доде под редакцией Н.М.Любимова, т.7, М., изд-во “Правда”, 1965.

1. Высшая нормальная школа - учебное заведение в Париже (основано в 1794 г.), выпускает главным образом историков и филологов.

2. Де Сальванди Нарсис-Ашиль (1795-1856) - политический деятель и публицист, при короле Луи-Филиппе - министр просвещения.

3. Кардинал Ла-Балю Жан (1421-1491) - любимец Людовика XI; арестованный за измену, 11 лет просидел в клетке, которую сам изобрел для наказания преступников.

4. Луи-Филипп, “король буржуа” (1830-1848), неоднократно подвергался насмешкам за свою скаредность.

5. Римская премия - трехлетнее пребывание в Риме на казенный счет, которого удостаивались лучшие из окончивших музыкальные и художественные высшие учебные заведения.

6. Кольбер Жан-Батист (1619-1683) - государственный деятель эпохи Людовика XIV, генеральный контролер финансов; основатель Академии надписей и Академии наук.

7. Жубер Жозеф (1754-1824) - философ-моралист; его произведения были опубликованы посмертно Шатобрианом (“Мысли, очерки, изречения и письма”,

1842).

8. Александрийские стопы - основной размер французской классической драмы: двенадцатисложный стих с цезурой и парной рифмой, с чередованием мужских и женских окончаний,

9. Дю Белле Иоахим (1522-1560) - один из крупнейших поэтов Плеяды (объединения поэтов, группировавшихся вокруг Ронсара); цитата взята из его цикла “Сожаления”.

10. Счетная палата - высший финансово-административный орган Франции; ее здание было разрушено во время франко-прусской войны.

11. Вильмен Абель-Франсуа (1790-1870) - историк литературы, политический деятель, министр просвещения; с 1821 года - академик, с 1834 года - непременный секретарь Академии.

12. Доде наряду с именами своих персонажей называет имена действительно существовавших академиков: Эдмона Русса (1817-1906) - известного юриста, Гастона Буассье (1823-1908) - крупнейшего историка Древнего Рима, Александра Дюма-сына (1824-1895).

13. Де Брольи Альбер (1821-1901) - историк, автор трудов по истории дипломатии.

14. Бризе Огюст (1803-1858) - поэт, автор идиллий и поэм из сельской жизни, воспевавший свою родную Бретань.

15. Вик д’Азир Феликс (1748-1794) - врач и анатом, академик, автор риторических “Восхвалений медицины”.

16. Момзен Теодор (1817-1903) - великий немецкий ученый, автор монументальной “Истории Древнего Рима”.

17. Дахабиэ - туземная лодка.

18. Фирменный знак издательства Дидо (основано в 1713 г., выпускало главным образом книги греческих и римских классиков) - круглый медальон с изображением купола дворца Мазарини.

19. Один из орденов Российской империи.

20. Грез Жан-Батист (1725-1805) - художник, автор сентиментальных жанровых картин.

21. В Михайловском театре в Петербурге (ныне в его помещении находится Малый оперный театр) постоянно играла французская труппа.

22. Тальен Тереза (1773-1835) - испанка родом, маркиза де Кабаррус, стала любовницей, а потом и женой Тальена, одного из видных деятелей послеякобинской реакции; известна легкомысленным поведением.

23. В эпоху объединения Италии папа Пий IX (1792-1878) лишился

своих владений (Папской области) и объявил себя в 1871 году “Ватиканским пленником”. Этот маневр нужен был мнимопреследуемому папе для поднятия престижа католической церкви.

24. Карагез - крайне непристойный персонаж турецкого театра марионеток.

25. В 1840 году г-же Лафарж (1815-1852) - предъявили обвинение в отравлении мужа. В тюрьме, где она просидела двенадцать лет, г-жа Лафарж писала стихи, составившие небольшой томик.

26. Справочник Боттена - ежегодный официальный “Указатель торговли и промышленности”; Себастьен Боттен (1764-1853) основатель этого издания.

27. Мраморный мавзолей герцогов Скала, строившийся с 1273 по 1370 год; один из наиболее выдающихся памятников итальянской готики.

28. Артемисия (IV в. до н.э.) - жена Мавзода, царя Галикарнасса. Овдовев, воздвигла над прахом мужа гробницу, считавшуюся одним из “семи чудес света”. Название гробницы - Мавзолей - стало нарицательным.

29. Вуазен - владелец одного из самых дорогих парижских ресторанов.

30. Фредерик Леметр (1800-1876) - знаменитый актер, исполнитель характерных ролей.

31. Доде приводит подлинные слова, которыми ответил ему на вопрос о Бальзаке драматург, академик Дусе.

32. Сюар Жан-Батист (1734-1813) - французский публицист; описанный случай приводится в его “Мемуарах”.

33. В описываемую эпоху дворец Шантильи принадлежал отпрыску Орлеанского дома, герцогу Омальскому, четвертому сыну короля Луи-Филиппа Орлеанского, академику.

34. В 1643 году в битве при Рокруа французский полководец принц Конде одержал победу над испанцами. Конде был предком герцога Омальского, написавшего его историю.

35. Имеется в виду Коклен Старший, Констан (1841-1909) - знаменитый комический актер, прославившийся исполнением роли Сирано де Бержерака в пьесе Ростана. Делоне Луи-Арсен (1826-1903) - актер театра Французской комедии, исполнитель ролей молодых людей в комедиях Мольера и в пьесах современного репертуара.

36. Имеется в виду IV действие, VI явление комедии Мольера “Скупой”

(1668).

37. Имеется в виду непристойная новелла об эфесской матроне, дошедшая до нас в книге римского писателя Петрония (I в.) “Сатирикон”. Стала популярной во Франции благодаря переложению Лафонтена.

38. Так Наполеон назвал Талейрана во время бурной сцены, разыгравшейся 20 июня 1809 года; Талейран вызвал гнев императора неодобрительным отношением к испанской войне.

39. Ротру Жан (1609-1650) - драматург, автор многих трагедий.

40. Мария Медичи (1573-1642) - французская королева, вторая жена Генриха IV и регентша в начале правления своего сына, Людовика XIII.

41. Иль-Русс - городок на побережье Корсики.

42. Екатерина Медичи (1519-1589) - французская королева, жена Генриха II Валуа, мать Франциска II, Карла IX и Генриха III.

43. Дидона - мифическая основательница Карфагена. Она полюбила героя Энея, бежавшего из разрушенной Трои, но была покинута им и покончила с собой, на костре. Ее любовь к Энею является сюжетом IV книги “Энеиды” Вергилия.

44. Ариадна - царевна Крита, покинутая на пустынном острове своим возлюбленным Тесеем.

45. Намек на библейского царя Давида, плясавшего во славу божию перед ковчегом завета (ларцом, где якобы хранились скрижали Моисея).

46. Ронсар, “Оды к Кассандре”, XVII.

47. Плиний Старший (23-79 гг.) - римский натуралист и писатель, автор “Естественной истории” - свода всех знаний древних о природе, ремеслах, искусствах.

48. Бюффон Жорж-Луи-Леклер (1707-1788) - знаменитый натуралист, один из основоположников научной биологии. Ла Боэси Этьен (1530-1563) - мыслитель, друг Монтеня, автор двух книг, направленных против тирании. Клемансо Изор (XIV в.) - легендарная основательница Консистории веселой науки - объединения поэтов, возникшего в Тулузе в 1323 году и ежегодно проводившего поэтические состязания под названием “Цветочные игры”.